

НИКОЛАЙ
ПОЛЕВОЙ
ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И
ПИСЬМА

Николай Алексеевич Полевой

Дурочка

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834).

Настоящее издание включает в себя наиболее значительные и известные художественные произведения русского журналиста, писателя и историка Н. А. Полевого (1796—1846): «Повесть о Симеоне, Суздальском князе», цикл романтических повестей, объединенных автором под названием «Мечты и жизнь», и повесть «Дурочка». Раздел писем знакомит читателя с литературным и дружеским окружением Полевого. Большинство произведений и писем публикуется в советское время впервые.

Содержание

#1	0005
ДУРОЧКА	0005
I	0005
II	0021
III	0029
IV	0044
V	0070
VI	0081
VII	0087
ПРИМЕЧАНИЯ	0106



ДУРОЧКА

I

Москва, Москва! Она близко — только одна станция отделяет меня от Москвы, милой, прекрасной, родной Москвы — да что мне до тебя, милая, старинная Москва! В Москве она, моя Паулина, и с таким же нетерпением скакал и мчался бы я в Колу, в Нерчинск, в Олонец, с каким скачу, спешу теперь в Москву — там — нет! теперь уже почти здесь — моя Паулина! — Здесь!.. О боже! Голова моя кружится; сердце мое бьется так сильно, как будто ему тесно стало тут, в груди моей...

Я не мог ехать далее — остановился на Черной Грязи, велел отвести себе комнату и вот уже целый час хожу, сижу, ничего не делаю, ничего не думаю. О чем мне думать? Одна мысль моя: Паулина. И на одну такую мысль не останется мне вечности...

Какая-то глупая рожа приходила и спрашивала меня, не хочу ли я есть либо пить?

— Разве у вас останавливаются только для еды и питья? Нет ли у вас уголка, где живут только счастьем, только мечтою о счастье?

Мечтой! Что за вздор! Еще недавно оно было для меня мечтой, а теперь перешло в чудную существенность... О, Паулина! ты — моя...

С каким безумным нетерпением поскакал я из Петербурга и мчался опрометью всю дорогу, как бесился я на людей, задерживавших меня там, в их великолепном леднике, — они хотели, чтобы я замерз, как они... Бог с вами! Если за свободу мне можно откупиться золотом — возьмите его и дайте мне поскорее отогреться подле моей Паулины. Расчет верен, кажется: вам золото, мне — воля и Паулина!..

И как переменялись все мои отношения, и отчего? От мешка империялов. — За месяц, я погибал. Безднадежность счастья губила меня. Как тяжело было мне смотреть на мир божий, на людей, на радость! То не зависть была: такое отвратительное чувство для меня непонятно! Но тяжело мне было смотреть и видеть все таким счастливым, видеть неисчерпаемые источники блаженства в мире божьем, в

жизни, в сердце моем и гореть адским огнем бесприветного горя. Медленной мукой томительной жизни видел я себя осужденным страдать, томиться до одинокой могилы или... не смею сказать!

И все изменила горсть золота!

Мне иногда приходило в мысль стать на колени перед людьми и благоговейно преклониться перед высоким доказательством небесного их происхождения.

Если оценить страшное увлечение очаровательного, звенящего демона, если оценить, что за него все покупают люди, что перед ним склоняются все страсти их, все приличия, отношения их, разрушаются все связи сердца, души, родства, дружбы, — как не трепетать: чего не сделают люди для золота? Как не благоговеть перед ними после того, что они так мало делают для золота? Что удерживает, что спасает их? Стало быть, есть в душе их что-то выше, то, что удерживает руку убийцы, терзает потом преступника более всякой казни? Есть оно и неистребимо в душе человека — его не отгонит оттуда звон золота, его не заслепит блеск роскоши, его не заглушит клик

самых бешеных страстей! Иначе каждый червонец, блеснувший перед глазами нищего, был бы смертным приговором тому, у кого в руках этот червонец...

Я помирился теперь с людьми. Как легко мириться счастливому!

Зачем я остановился здесь? Неужели разрешать нравственные задачи жизни человеческой?

Нет! мое сердце было так полно чувствами, что я не мог ехать далее — мне надобно было передохнуть здесь — мир счастья душил меня! Мне надобно было облегчить душу мою думой, и я приехал бы притом в Москву ночью, и целую вечную ночь мне надобно было провести в одном с нею городе и не видеть ее — нет! невыносимо! Тут еще двадцать верст разделяют нас — в один час перелечу я их, и первый шаг мой в Москве будет к ее жилищу, первая встреча моя будет с нею... Святотатство любви было бы встретить кого-нибудь другого, кроме нее, идти не к ней первой...

Томительные часы охромели, не бегут, а кое-как ковыляют, кажется... Ночь длиннее

лапландской зимней ночи... Неужели в Москве изменился до того климат, что заря загорается здесь в девять часов утра... но она последняя ночь разлуки! Завтра я засну с радостною мыслью, что с каждым днем могу я видеть мою Паулину... Пусть же она тянется медленно, последняя ночь скорби... Она усадительна для меня, как последняя капля горечи из сосуда прошедшего бытия...

Я растворил окно. Какое чудное время, какая теплота в воздухе! Милая ночь! Кажется, она ласкает меня, лелеет меня... И вот говорят, что только в Италии знают прелесть летних ночей... Я не знаю вашей "итальянской" ночи, но там не может быть ночей лучше... И как кстати теперь мрачное, грустное положение гостиницы, как будто для того, чтобы прелесть земли не увлекала взоров моих от неба, чтобы в небо только улетал мой взор с усадительною думою души... Странное дело! но мне хотелось бы теперь даже немного какого-нибудь горя — я встретил бы его с улыбкой...

Дитя! Ты спасен из реки и опять не боишься играть на берегу ее, кидать камешки по

грозному пространству вод, которое чуть было не поглотило тебя... Ты уже забыл те страшные бессонные ночи, в которые ты даже плакать не мог...

Припомни их... их много было! Ты терял в них счет... Да, я содрогаюсь теперь при мысли, как близок я бывал к отчаянию, и — сколько раз?

Нет! Теперь я остановлю брата моего, когда... когда коснется душе его страшная мысль самоубийства! Я скажу ему: "Остановись — не отчаивайся! Мир надежды бесконечен, как мир любви!"

Но была ли мне надежда? Никакой! Пропать делила меня и Паулину...

Не знаю... Мне пересказать почти нечего, если бы кто-нибудь спросил меня о прошедшем: я любил, я был любим, и у меня не было даже и надежды назвать моею ту, которую любил я. Что ж тут необыкновенного?

Да что такое называете вы необыкновенным? Какая ваша трагедия сравнится с зрелищем отца, в глазах которого умирает милый сын, матери, у которой голодные дети просят куска хлеба, а у нее между тем нет куска хле-

ба... И все повторяется каждый день в велико-
лепном городе вашем, да вы не видите, вы не
знаете тех мест, где теснится горе, где живут
безотрадные матери с голодными детьми...
Сколько раз, погибая сам безотрадною тос-
кою, я бегал с Невского проспекта, далеко, ту-
да, где скорбь и нищета гнездятся в глуши, да-
леко от глаз шумного света... Я был там среди
брatьи моей, среди таких же, как я, нищих...
И как часто, идя по какому-нибудь грязному
переулку на Петербургской стороне, думал я:
"Друзья мои! я беднее вас! Не смотрите, что на
мне не лохмотья надеты; зато вы не знаете,
каким счастливецом мог бы я быть, если бы
судьба уделила мне хоть немного так щедро
разбросанного ею столь многим — вы не знае-
те, и — вы богаче меня..."

Если бы каждый, многие по крайней мере
могли передать нам историю их душевной
грусти — какой роман, какое произведение
поэзии могли бы с нею сравниться? А между
тем на гробе иного человека нечего написать,
кроме слов: "родился... умер..." — год, месяц и
число.

Легким облаком пролетает теперь у меня

по ясному, светлому настоящему память о прошедшем... Но слава богу, что оно прошло...

Я помню, как умирал мой отец — я был тогда дитя, но я помню последние слова его, помню, как он говорил моей плачущей матери: "Неужели они не простят тебе и малютке нашему, когда уже меня не будет? Неужели они не дадут вам куска хлеба за то, что ты отдала руку свою бедняку и тем оскорбила горделивое, знатное родство? Дядя твой человек добрый..."

Но добрый дядя не явился к матери моей, когда умер отец мой. Честолюбие было непримиримо. Помню, как шел я за гробом отца, как мне жаль стало, когда в гроб его застучала земля; я не знал, что на земле бывает иногда тяжелее, нежели под землею. Праведному там легко. Страдальцу там отраднее...

И она умерла, и я остался бесприютен...

Зачем такие мрачные воспоминания пробудились в душе моей теперь? Мне было так сладостно и весело... но они — последняя память былому, грустному и тяжкому...

Если бы не такова была моя судьба, я не узнал бы тебя, Паулина... Пути провидения

неисповедимы...

Только зачем так страдали и так безотрадно умерли отец мой и мать моя?.. Неужели за то, что он, благородный бедняк, осмелился любить дочь знатного и богача, и она отдала ему руку свою, спрашиваясь только у своего сердца, а не у богатых дядей и теток?.. Если бы он и она были теперь живы... моя жизнь и любовь моя и любовь Паулины вознаградили бы их за страдания...

Помню, как дядя мой не хотел видеть меня, но сделался каким-то незримым провидением моей жизни, милующим и карающим по его желанию. Меня взял к себе отец Паулины; я рос и учился с детьми его. Там я увидел, узнал тебя, Паулина...

Как мне не любить тебя, Паулина, когда, узнавши тебя, я сведал первые радости жизни! С воспоминанием первых впечатлений юности моей, твой образ везде со мною, подле меня...

А когда в первый раз сказалось душе моей, что непостижимое чувство, сливавшее нас в радости и горе, заставлявшее нас делиться жизнью, — была любовь...

— Антонин! — говорил мне отец Паулины, когда однажды пришли мы к нему утром по обыкновению, — ты завтра поедешь в Петербург. Ты хорошо учился. Дядя твой доволен тобою. Но он хочет, чтобы ты был человеком деловым, порядочным, и если ты приобретешь себе место в свете, будущая судьба твоя будет обеспечена моим добрым другом.

— Неужели он не позволит мне теперь увидеть его? — Он не хочет. "Тогда только, когда Антонин будет достоин любви моей, оправдает себя поведением, — я прощу ему и его матери — он будет мой наследник". Теперь ты будешь получать достаточное содержание. Вот тебе несколько писем в Петербург, по которым встретят тебя ласково и откроют тебе дорогу к будущему... Помни, что во мне всегда найдешь ты отца и друга. Он заплакал, и мы все заплакали...

Этот день свят в моей памяти: Паулина и я поклялись друг другу вечно любить друг друга...

И, как орел в небо, полетел я в Петербург — служить. Голова моя горела мечтами славы и любви...

Через три года мне уже надобно было отдохнуть. Достаточного содержания едва доставало мне на вицмундир и на то, чтобы не замерзнуть зимою и не сидеть впотьмах.

Письма, которые должны были открыть мне дорогу к будущему, открыли мне только двери в департамент.

Работа моя была тяжкая; отрады сердцу моему не было. Мечты мои опустили крылья. Я дичал и жил одиноким.

Я вырвался наконец в Москву и увидел ее. — Как переменилась она в три года! Вместо красивой девочки, веселой, резвой шалуньи, она была девушка чудная — украшение лучших обществ. Я не смел сказать ей "ты", я увидел всю свою неловкость — был глуп, неуклюж перед нею. Я увидел в Паулине дочь богатого человека, блестящую, прелестную, очаровательную, а в себе — бедного чиновника департаментского. Меня по-прежнему ласкали — как доброго сироту, как знакомого семьянина; говорили мне, что я должен стараться быть честным, хорошим человеком, что мной довольны начальники... Растерзанный убежал я из Москвы...

Но я унес с собой сладостное убеждение, что она любит меня, любит... Мы не говорили ничего друг другу — я не смел говорить, — но я видел, что она меня любит...

С той поры прошло три года. Они были мучительны. Не знаю, какая безумная мысль — уравнивать свое образование с светским образованием Паулины — увлекла меня в большой свет... Нелюдимый с товарищами до тех пор, я завел знакомство, дружбу с ними. Между нами были светские шалуны — я подал им руку, и они увлекли меня за собою. Как не найти чего ищешь, и я сделался всегдашним гостем на раутах, вечерах и балах...

Но дорога была расплата! Как часто совестился я, видя себя в толпе бездушных щеголей, ужасался пустоты в великолепных, набитых народом залах и гостиных, пугался блестящих, светских женщин, которые издали, с высоты своей, казались так обольстительны... Ссора за визави в кадрили была лучшею моею рекомендацією у многих...

Но кровожадного червя, который глодал меня, грыз мне сердце и обливал его палящею кровью, никто не знал, кроме меня самого!

Страшное чувство мое поймет только тот, кто бросился в свет, не имея на то ни прав рождения, ни прав богатства — других прав в свете не знают, и всякий, кто явится без них в свет, будет рабом его, рабом самым жалким, ничтожным, таким, что, как блага, будет он просить, как милости, умолять забвения, что у него есть душа, есть сердце, есть ум — просить, чтобы душа его заменилась эгоизмом, сердце бесчувственностью, ум приличиями... В большом свете, где все кажутся так равны, так равно веселы, так равно богаты, тма степеней разделяет людей, и нигде нет так низко и так высоко расставленных в глазах своих товарищей... Вы не знаете, что за иную из великолепных карет, которые подъезжают к подъезду бальной залы, заплачено так дорого, как не платят люди за высшее блаженство в мире; вы не знаете, что иного человека, так щегольски одетого, по приезде с вечера дома ждет бессонная подушка должника, что с бала могут отвориться для него двери в тюрьму, что после великолепного ужина грозит ему голодное завтра... Ужасна бедность, ужасно унижение, везде ужасны они, но нигде они

так не ужасны, как в большом свете. Не думайте, чтобы свет указывал на них — нет! — но если он не говорит, не думайте, чтобы он и не понимал, не знал их и, молча, неподвижный, бесстрастный, не давал чувствовать каждому своему страдальцу, что он все видит и знает... Боже! Когда все так равно, так весело становятся в кадриль, — бездна разделяет двух рядом стоящих партнеров одной кадрили и отчаяние сердца, позор бедности прикрыты у одного из них только модным фракком...

Но я был увлечен, я не мог возвратиться и все приносил в жертву кумиру светской жизни — страдал, терпел, забывал свои обязанности, вошел в неоплатные долги... Грозное письмо дяди напомнило мне, что скоро лишен я буду, может быть, насущного хлеба, — он сведал о моей рассеянной жизни... А куда мне было после того броситься!.. В Неву?..

Только немногими днями подарило меня провидение, немного дало мне дней радостных в ужасные три года: отец Паулины был проездом в Петербурге; он ехал с семьею за границу, и я увидел ее, и она изумилась, уви-

дя меня. Мой внешний вид, мои приемы, мое обхождение показали ей во мне не прежнего неловкого чиновника департаментского... Она не стыдилась теперь любви моей — не стыдилась, видя меня подле себя... Три дня — и, к счастью, мы провели их не на балах, не в собраниях, — три дня мы были вместе, были счастливы...

Но взгляд Паулины снова раскрыл мне гибель сердца моего и страшное расстояние, разделяющее меня, бедняка, от нее — богатой, светской девушки. Неужели мне повторить историю отца моего?.. Никогда!

Окаменяющий взор отчаяния, когда я расстался опять с Паулиною, мог я отогнать только безумным рассеянием...

На другой день после того, когда тюрьма угрожала мне за долги, когда мне велено уже было подать в отставку, когда отвратительный эгоизм раскрылся мне во всех меня окружавших, — я сделался наследником всех богатств моего дяди... Меня уведомили о внезапной смерти его. Я даже не обрадовался тому сначала. Быстрый переход из отчаяния ко всему возможному на земле блаженству оглу-

шил меня... Старик, старик! ты, томивший меня столько лет, — если бы еще несколько дней... кто знает? На все дары счастья, которые бросил ты мне из могилы, служил бы ответом полицейский рапорт: "Реченный Антонин Н. Н. прекратил жизнь свою самопроизвольно"... А какой рапорт подали бы мы с тобою там — в вечности?..

Слава богу! это прошедшее.

Но у меня волосы становятся дыбом при одной мысли... Спрашиваю сам себя: точно ли все прошло? Точно ли я близ Москвы? Точно ли я близко к Паулине?

Заря загорается на небе... Прочь все, что миновалось, — настоящее мое! Лошадей, скорее лошадей! В Москву, в Москву!

Как они изумятся, как она изумится! Она ничего не знает — на что мне было писать? На что было медлить лишним часом пребывания в Петербурге? Они подумают, что к ним явился прежний, бедный Антонин, а я — я вдруг предложу ей богатства мои — сердце ее принадлежит мне давно — тому шесть лет, как она сказала мне о том. После того ни однажды не смел я говорить ей, напомнить ей,

но она меня понимала; ее взор сказывал мне все, чего не хотели мы говорить.

Колокольчик звенит! Какой виртуоз играл для меня когда-нибудь усладительнее этого колокольчика... Бегу, бегу!.. Мчись скорее, Антонин...

II

Вот чего я не ожидал — такой веселой встречи с Паулиною!.. Однако ж — мне досадно.

Чуть не загнал я чудную тройку моего ямщика на двадцати верстах; едва успел я кое-как одеться и чрезвычайно изумился, когда, подъехавши к дому отца Паулины, увидел ворота и окна запертыми — так еще было рано, что все спали в доме! Только старый дворник мел улицу. Он узнал меня и обрадовался мне.

— В Москве ли барин? — был первый мой вопрос.

Не нелепость ли: до тех пор не подумал я, что они могли уехать в деревню; но, слава богу, они в Москве.

— Неужели у вас еще спят? Барин всегда прежде вставал так рано.

— Со времени последней болезни он очень

ослабел, — говорил мне старый Михайло, и подробно начал он рассказывать о болезни старика барина и о том, что он встает ныне очень поздно. Я готов бы был проговорить с Михайлом, пока все встанут в доме, если бы не спросил: "Здорова ли барышня?" — "Здорова, слава богу, но ее нет теперь дома — она гостит, — я побледнел, — у тетушки своей Прасковьи Ивановны, которая теперь живет на даче, в Останькове". Чуть не закричал я от досады. Прасковьи Ивановны Свистуновой я никогда терпеть не мог...

Что мне было теперь делать? Я пошел поспешно, без плана, без цели и сам не помню, как дошел до Кремля. Здесь я опомнился.

Странное дело. Теперь, когда оборвалась так неожиданно надежда, которою жил и дышал я в последнее время, мне было теперь все равно, раньше ли, позднее ли увидеться с семьею Паулины. И я принялся осматривать Кремль, как добрый провинциал, приехавший в первый раз в Москву, глядел на царь-пушку, на царь-колокол, полез на Ивана Великого... И когда я без всякого чувства смотрел на чудную панораму Москвы с башни Го-

дуновской, внезапная мысль: "А может быть, она придет сегодня утром в Москву, и теперь она уже дома? — так поразила меня, что я опрометью бросился с колокольни, чуть не свалился с лестницы и через полчаса был уже в доме отца Паулины.

Я нашел большие перемены в его столь знакомом мне доме: старая мебель была заменена наполовину новою, готическою; комнаты отделаны на новый лад; я не узнавал ни комнат, ни мебели. Старик также совсем переменялся. Полуразбитый параличом, он неподвижно сидел в своих креслах. Но он встретил меня по-прежнему.

— Верно, по командировке? — сказал он. — Надеюсь, что ты не тратишь времени попустому и не поневоле оставил Петербург? — Голос его выражал полуупрек.

Я понял, улыбнулся, засмеялся, уверил, что послан по делам в...скую губернию. Совесть старика успокоилась. Он обнял меня.

— Что дядя?

— Вы знаете, что я получаю от него одно письмо в год.

— А я и того не получаю.

Начались разговоры о Петербурге, и скоро узнал я, что Паулина приедет сегодня вечером к балу, который дают в Дворянском собрании. Скоро простился я, отказался от обеда и вечером явился на бал. Кадрили уже начались. Тотчас отыскал я Паулину, и как не отыскать Паулины — спросите, посмотрите сами, кто первая в собрании? Это, верно, будет она.

Паулина танцевала с каким-то гусаром и так весело, так мило разговаривала.

Кадриль кончилась. Я бросился к ней.

— Боже мой! я вас не узнала бы, Антонин! Радуюсь, что вы здоровы и, кажется, веселы?

Я не смел отвечать. Новая кадриль. Опять гусар и опять разговоры с ним.

Бедная девушка! Как ее мучили приличия! Скрывая чувства, она почти не замечала меня. Гусар, казалось, увлекал все ее внимание. Что это за гусар? Он молод, хорош, богат, знатен — бальный человек.

Паулина вздумала рекомендовать нас друг другу, как будто ей хотелось оправдаться в глазах гусара, сказать, что я за человек и почему так просто мы разговариваем с нею; ей

как будто хотелось сказать ему... Бог знает, что хотелось ей сказать...

Мы весело смеялись, но мне было досадно. Боже мой! так ли думал я встретиться?

* * *

И опять гусар и уже не на бале, а в доме, и как добрый, любезный гость, и я ни слова не мог сказать ей! Он в самом деле такой милый, такой ловкий... Да зачем он здесь?

Опять бал где-то завтра, и она осталась для того дома. А зачем же не осталась она вчера с полубольным отцом?.. Паулина! это мне не нравится...

* * *

С балу она уехала прямо в Останьково к тетке.

— Поедем туда; подышим свежим воздухом тамошних болот.

Прасковья Ивановна облапила меня, как добрый коршун, вопросами о Петербурге, о делах, о своем деле, о моей службе, и мне забавно было, что она говорит со мной, как с бедным сиротой Антонином, бедным чиновником. Она вынесла бумаги, заставила меня читать. Паулина возвратилась с прогулки с

большим обществом, и — гусар опять был с нею...

Я готов был спросить: по какому праву безотвязная любезность его вечно с Паулиною?

Но, слава богу! я подглядел несколько взглядов, украдкою брошенных на меня. Ты думаешь, Паулина, я не заметил их? В них сказывалось мне твое чувство. С гусаром ты смеешься только, шутишь. Если бы я мог поговорить с тобою полчаса...

* * *

Я говорил с нею, я осмелился напомнить ей об нашем детстве, о нашей любви... Она слушала и молчала...

— Паулина! — сказал я. — Если бы я теперь осмелился потребовать от вас исполнения той клятвы, какую вы тогда мне дали...

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Я не изменился, Паулина, семь лет я только и жил вами, только и помнил об вас; я люблю вас, Паулина, люблю страстно...

Она была в страшном замешательстве и ничего не умела отвечать. Но отчего она улыбнулась?

Разговор наш прервался приходом Праско-

вьи Ивановны.

* * *

— Что ж ты, Антонин, медлишь здесь, и что ты живешь в Москве? — спросил меня утром отец Паулины, когда я пришел к нему. — Вообще, в последнее время я слышал о тебе много такого... Ты, брат, и теперь что-то не по состоянию одет... Это мне не нравится, Антонин! Мы с тобой поссоримся — я привык любить тебя, как сына, а ты чуть ли не зашалился... И ты еще посмеиваешься при моих словах!

Наш разговор прервала Прасковья Ивановна. Она сказала мне, что ей надобно поговорить со мною. Да что она за хозяйка такая сделалась в семье Паулины?

О чем хочет она "поговорить со мною"?

— Я уверена, что говорю с благородным молодым человеком, который помнит, чем обязан он здешнему дому, и потому охотно взяла я на себя обязанность объяснить вам неприличие ваших поступков. Мы, конечно, не обязаны требовать у вас отчета в вашей жизни и в том, как вы располагаете вашим карьером, хотя искренно желаем вам добра,

но вы позволяете себе слишком короткое обращение с моею племянницею Паулиною, и мы просим вас вспомнить, что таким обращением вы можете повредить нашим семейным распоряжениям. Вы должны были заметить, что она почти невеста (Прасковья Ивановна наименовала гусара), и мы просим вас оставить мою племянницу в покое...

— Разве Паулина говорила вам что-нибудь?

— А разве ей было что-нибудь вами сказано?

— А разве она согласна отдать руку свою этому жениху?

— А разве вы имеете право спрашивать о том?

— Почему ж нет, Прасковья Ивановна? Я люблю Паулину; мы воспитывались вместе, и почему не могу я также быть ее женихом?

Прасковья Ивановна поглядела на меня с изумленным видом, помолчала, и потом сказала:

— Мы надеемся, что вы скоро оставите Москву?

— Нет! я жду здесь приказаний моего на-

чальства и проживу здесь еще месяц.

— В таком случае мы просим уволить нас от чести вашего посещения.

Я поклонился, не сказал ни слова и ушел.

III

Несчастлив ли я? Не знаю — кажется, несчастлив? Но отчего же горесть не терзает меня и сердце мое не разрывается грустью? Презрение и негодование заменили во мне любовь и печаль.

Они уехали в свою подмосковную деревню. Я не мог видеться с нею. Она не старалась, не хотела, стало быть, видеть меня — она не любила меня, или тут есть какая-нибудь тайна. Боже мой! или я ошибался в ее чувстве? Это было легкое впечатление, привычка детских лет...

Я вовсе не грущу, но, однако ж, боюсь за себя. Такая пустота в душе, такая пустота вокруг меня. Она ужасна! Уеду в деревню свою, не выгляну на людей, не пущу их никого к себе. Я стар уже теперь добиваться почестей и служить. И то семь лет погибли у меня в Петербурге. А в Москве что мне делать?

Странное впечатление!

Мне надобно было повидаться и переговорить с одним из знакомых моего дяди. Я нашел доброго старика, не сказал ему ничего о смерти дяди, назвал себя, и старик припомнил, что он знавал когда-то отца моего и мать. Мы разговорились как старые приятели. Беседу нашу прекратил какой-то незнакомец. Его синий старый сюртук, палка, зеленый картуз, лицо, походка, разговор — все бросилось в глаза мне, отвыкшему от таких оригиналов в Петербурге.

Мой оригинал подошел к хозяину, взял его за руку, посмотрел на него с минуту и сказал:

— В двадцать первый раз поздравляю тебя, поздравлю ли в двадцать второй — бог знает! — Слезы навернулись у него на глазах; он отворотился.

— Экая дрянь! — сказал он, утирая глаза. — Прощай до вечера! Я ведь к тебе со всеми?

— Разумеется; если бы Рудольф не приехал к старику Смыслинскому, у Смыслинского и именины были бы не в именины. Да куда ж ты спешишь? Пстой!

— Некогда. До вечера!

И незнакомец ушел поспешно.

— Вы удивляетесь моему знакомому? — сказал мне Смыслинский.

— Совсем нет, но я желал бы знать...

— А вот видите — это добрейшее создание, какое только есть в мире, господин Рудольф; не дивитесь, что он так чисто говорит по-русски: Рудольф мой немец только по имени; отец его был лекарем, а сын родился и вырос между русскими. Он сам рассказывает, как он учился медицине, и славно было выучился, но совесть не допустила его сделаться медиком. Он пошел в статскую службу, не умел выслуживаться, и вот двадцать пять лет, как он в отставке, поселился в Москве, завел перчаточную фабрику, шьет и кроит перчатки и был бы счастливейшим в мире человеком, если бы не многочисленное семейство, не честность, не юношеская пылкость, которой не потушили в нем годы. Его обманывают, обкрадывают; он смеется и не заботится о том, говоря, что, слава богу, сыт. Пару морщин провели у него только в последние годы кой-какие семейные обстоятельства...

Словоохотный старик готов был рассказать мне всю историю своего старого приятеля, если бы я не перебил его вопросом, что значили слова: "Поздравляю в двадцать первый раз?"

— Значит то, что двадцать лет сряду он поздравляет меня с именинами и проводит вечер именин у меня. Надеюсь видеть вас также в числе добрых моих гостей? В восемь часов, даже и в семь, мы рады вам будем.

— Я боюсь быть в тягость...

— А почему бы так? Вы, молодые люди, попляшете, а мы посмотрим... А там и о деле поговорим...

Не знаю, что-то привлекало меня к старику и его приятелю. Мне в первый раз случилось увидеть такое отсутствие всех форм, что-то такое грубое, но честное и доброе, старинное дедовское — мне казалось, что я читаю Лафонтенов роман. Я пришел к Смыслинскому на вечер.

В добром был я расположении, и ничто не казалось мне смешным, может быть оттого, что мне так уж надоели великолепные буддари и салоны. Чистый, светленький меццан-

ский домик, простота обхождения, простые лица, громкий хохот, шутки, для меня непонятные, но не знаю чем смешившие все собрание, две скрипки и бас, затеснившие маленькую прихожую, гости, поочередно целовавшие всех и каждого, свой мир разговоров, молодежь в коричневых фраках с фигурными светлыми пуговицами, в жилетах с бархатными отворотами, девушки такие плотные, краснощекие, матери, сидевшие рядком, отцы, засевшие играть по грошу в бостон, пунш, поданный в стаканах, — ничто не казалось мне смешно. Весь собравшийся народ совершенно знал друг друга. Каждый из гостей отводил кого-нибудь в сторону и спрашивал обо мне, просто указывая на меня пальцем. Скрипки наконец запищали: "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан" — все, что могло плясать, стало в ряды, и, при топоте мужчин, началась кадрили. Соло было выделяваемо со всею танцорскою тщательностью. Обо мне забыли, и я мог наблюдать из уголка. К счастью, я был в сюртуке, отказался от танцев, и много мыслей пролетело в моей голове. Беспечное веселье, бог знает где, в Таганке, смесь образо-

вания, мод, лиц без страстей и выражений — и главное: чему они тут радуются, чем они тут веселятся? Вот что занимало меня.

"И неужели в этой толкотне ни одной души, ни одного сердца? — подумал я. — Мне знакомы блестящие гостиные и великолепные салоны петербургские, где сердце вытравлено, а душа изгнана, знакомы московские собрания, где то и другое заплыло жиром, а здесь, в таком собрании честных меццан и мелких чиновников московских, куда их девали?"

Против меня стала в кадрили какая-то пара. Кавалер был превосходный: молодой человек, завитый в цирюльне, в вицмундире, в пестром жилете, в манишке с фигурными складками, в замаранных желтых лайковых перчатках. Девушка, с ним танцевавшая, поразила меня чем-то особенным.

Лицо его не было красиво, но, рассматривая его, невозможно было осудить ни одной черты. Большие голубые глаза, с прекрасным выражением, когда она поднимала их кверху; свежее белое лицо; русые волосы. Одежда также отличала ее от других: на ней было бе-

лое кисейное платьице, так просто, так мило шитое, без всякой пестроты, не гроденаплевое, не пестрое кисейное, не красное, как на других. Оно обрисовывало прехорошенькую талию; маленькая ножка в черном башмачке видна была без всяких претензий выказать ее. Девушка танцевала так легко, так просто. Но странность какая-то являлась у нее беспрестанно и во всем. Едва начинал говорить с нею кавалер, она как будто пугалась, вспыхивала, потупляла глаза; кроме того, беспрестанно мешалась она в кадрили и краснела еще больше; казалось, она робеет чего-то, боится, рука ее дрожит. И только тогда, как ее оставляли в покое, никто не подходил к ней, никто не говорил с нею, лицо ее делалось милым, задумчивым, привлекательным. Я обратился к моему соседу с вопросом, кто эта девушка.

— Это дочь Ивана Ивановича Рудольфа, перчаточного фабриканта, Людмила Ивановна.

— Она, кажется, премилая.

— Недурна бы, да жаль...

— Что такое?

— Она дурочка.

— Как дурочка?

— Видите — предобрая, преумная, много училась, но дурочка. Давно бы ей быть замужем, да она дурочка.

— Что вы разумеете под таким названием?

— Как вы изволите говорить, что такое, то есть что разумею? Я не понимаю вас. Спросите у всех, и все вам скажут, что она дурочка.

Девушка кончила кадриль и ушла в другую комнату. В сердце моем зашевелилось чувство, похожее на жалость. "Бедное создание! — думал я, — неужели в самом деле ты лишена ума, и твое милое личико прикрывает пустой череп?"

Она не выходила танцевать, хотя бал разгорался более и более; кавалеры стучали немилосердно, и пыль поднималась облаком, а от духоты оплывали сильные свечки по стенам. Я поспешил в другую комнату, где оставалось немного народа — несколько старух и несколько престарелых дев, которых не приглашают на танцы. Дурочка была тут. Она сидела в углу, задумчивая и, право, премилая. Голова ее склонилась на грудь; глаза были по-

туплены; два локона небрежно раскинулись по плечам; в руках держала она розу и общипывала с нее листочки. Мне пришла на мысль Стернова бедная Мария: так он видел ее, тихую, кроткую, безумную, с цветком в руке. Но Мария любила, страдала и потеряла рассудок, а ты, бедное, милое, хорошенькое создание, — неужели ты лишена природою того, чем отличается человек от животного? Ты дура — не сумасшедшая!.. Она тяжело вздохнула, подняла глаза к небу — они были прекрасны... Нет! не может быть, чтобы она была дура...

Мои размышления прервал приход Ивана Ивановича, отца Людмилы.

— Что ты здесь делаешь, Дурочка? — сказал он, потрепавши по щеке дочь свою.

Она смешалась, покраснела; мне показалось, будто на глазах ее навернулись слезы. Однако ж это бесчеловечно, отец, и вы, добрые люди! Если она в самом деле дурочка, зачем же выставлять ее безумие перед всеми? Зачем беспрестанно напоминать ей об нем? А если в душе ее сохранилось или пробудилось от ваших слов чувство потери такого отличия

человеческого от животных... Страшно подумать!

Голова моя закружилась, и я ушел тихонько; мне несносно стало в собрании умных людей...

* * *

Что за вздор такой! Лицо Дурочки беспрестанно мерещится у меня перед глазами. Мне, право, становится так жаль ее...

Умный и дурак! Мы беспрестанно слышим эти два слова, но многие ли из нас думали над их значением? Не удивительно ли? Я замечаю, что я сам только в первый раз разбираю их порядком. Сколько раз дураками называли при мне таких людей, которые не имели только известных форм общественных. Разве Руссо не казался дураком в ряду бархатных маркизов и пустоголовых французских щеголей своего времени? Сколько раз встречал я ужасающую глупость в людях, прикрытых щеголеватými фраками, и их никто не называл дураками. И они умники. А педантические парики, морщиноватые лбы стариков, пошлые приличия светскости, изученная важность столько раз заслоняли от

людей пустоту — пустоту черепа совершенную! И кто не покажется дураком, если сильная страсть увлекает его? Какой поэт не дурак в минуты восторга? Какой любовник не дурак перед своей красавицей? И где различие между умом и безумием, по которому едва на цыпочках пройдет мысль человеческая? И что такое наш ум? Неужели все было освещено умом, что прыгало вчера вокруг бедной девушки? Ум, ум!.. Один толчок вышибает тебя из головы человеческой, и потом человеку дают микстуры, и он опять получает тебя, таинственный дар, и луч неба опять светится в нем... Я щупаю себя за голову и ничего не могу сообразить — а все она, эта Дурочка! Да не может быть! Она не дура. Люди не понимают ее; может быть, она страстно любит — несчастная страсть сводит ее с ума — она не смеет сказать — препятствия, бедность разлучают ее...

Прекрасная мысль! Почему не быть страстям и в них, страстям сильным, пламенным, решающим на жизнь и смерть? Если только неравенство состояния, если только деньги разлучают ее с тем, кого она любит, — я дам

им денег — пусть будет она умна и счастлива. В самом деле, у меня такое множество денег, и мне не надобны они. Я радовался было им, как божьему благословенью, я погибал, когда их у меня не было, а теперь — на что они мне... О Паулина, Паулина! как счастлив я был, и что ты со мной сделала!.. Лучше отдать их Дурочке — пусть они хоть одного человека на свете осчастливят...

Надобно узнать. Лицо ее так много мне говорило вчера — ее кроткая задумчивость, беспрестанное сознание своего сиротства, своего одиночества, своей... Нет! не смею сказать... И мне что-то намекал старик Смыслинский о семейных обязательствах Рудольфа...

Узнаю все. Мне даже досадно, если точно несчастная любовь дала ей название Дурочки...

Что, если бы она была просто дурочка? Она такая хорошенькая, такая тихая — я женился бы на ней. Теперь мне все равно. Паулина для меня умерла и другие не живут. Почему не быть мне счастливым с красивой дурой? Ведь берут же кукол вдобавок к приданому? А я сказал бы ей: "Целый свет отвергал тебя —

один я не отверг тебя, Дурочка! Да, ты потому-то и мила мне, что ты дурочка, что в тебе нет ненужного людям, ненужного женщинам, хотел я сказать, чего-то такого, что называют люди умом и чего по сих нор они еще не определили". — И она любила бы меня, была бы подругой моего уединения, я был бы счастлив, уверил ее в нашем счастье...

Какие нелепости пришли мне в голову... Паулина! прости меня! Но я хочу узнать ее, узнать, как нечто любопытное. Это, право, очень любопытно. И превосходный план! Хорошо, что я не сказал Смыслинскому о моем наследстве и не познакомился с Рудольфом; я притворюсь теперь дураком и бедным и посмотрю на тебя, Дурочка...

* * *

Чудо! Я не мог не засмеяться, смотря на себя в зеркало в моем новом наряде! Судите после того о людях по наружности...

Решась познакомиться с Рудольфом и лучше узнать мою интересную дуру, я вздумал одеться по-дурацки и отправился в Зарядье. Там, на большой доске, видел я золотую надпись: "Иностранец военной и протипуляр-

ной Пар-тной Рахманов изъ Санпитебурха". Этот Пар-тной одевает всех заезжих провинциялов, которые останавливаются в Зарядье и заказывают себе платья, какими щеголяют потом в своих городах. Иностранец из Санпитебурха оказался чистый русак.

— Зачем ты подписал на вывеске, будто ты иностранец? — спрашивал я его.

— Нельзя, сударь, — отвечал он. — Это как-то поделикатнее. Ну, кто бы из приезжих стал мне заказывать, подпиши только я "вечно цеховой"?

Мы составили совет, и мой русский иностранец решил, показывая мне картинку, которую выдрал из старого московского журнала, купленного им на толкучем рынке, что если мне одеться по-щегольски, так надобно цветной коричнево-табачного цвета фрак с бархатным воротником и желтыми пуговицами с бычачьими головами, желтый жилет с белыми отворотами и полосатые брюки. Прекрасно. Потом в Панском ряду накупил я себе манишек с манжетами, пуговок на манишки с цветными стеклами, атласных деланных ошейников с большими бархатными банта-

ми, купил толстую цепочку на часы, навесил множество печаток, надел зеленые перчатки. И когда цирюльник завил меня большими хохлами на две стороны, я не отличил бы себя от лучшего франта Александровского сада — так глупа сделалась моя рожа и так смешна стала моя фигура. Лучшим доказательством послужило мне то, что, когда явился я к старику Смыслинскому с ухватками провинциала, он с улыбкой сказал мне:

— Э, мой почтеннейший! да, как вы расфрантились! А я ведь почел было вас философом, когда вы в прошедший раз виделись со мной!

Тут выдумал я, будто мой знакомый, большой эконоом, заводит фабрику для выделки лайки, что ему надобен мастер, и прочее, и прочее.

— Да чего лучше, — сказал Смыслинский, — я познакомлю вас с Рудольфом; поедете к нему. Что вы давно мне не сказали? Это по его части, и уж он тут все так хорошо знает и отрекомендует вам, и расскажет...

Через полчаса мы тряслись по неровной мостовой на калибере с маленькими рессора-

ми московского изобретения. Нас завезли бог знает куда — к Спасу в Спасскую, к Троице в Троицкую. Калибер остановился у ворот деревянного домика.

"Зачем я здесь? — думал я, — Что за вздорные затеи? Чего я ищу?" — Плыви, моя лодка! Будь что будет!..

IV

Мы застали семейную картину, каких никогда я не видывал. Старик Иван Иванович Рудольф, в колпаке и в жилете, сидел подле круглого стола с большою трубкою; подле него по обе стороны сидело человек семь или восемь мальчиков и девочек, а против него Дурочка; несколько книг лежало подле нее на столе. В Москве не знают колокольчиков и не запирают дверей — никто не докладывал об нас; мы вошли прямо. Дурочка поднялась было с места, но, увидя Смыслинского, ласково приветствовала его и села по-прежнему. Я скромно следовал за ним и почти не был замечен ею. Рудольф протянул руку не вставая, и, тогда как Смыслинский начал рекомендовать ему меня, Дурочка тревожно поглядела

на меня, но я кланялся так неловко, глядел так смиренно, одет был так глупо, что она спокойно обратилась к своей книге и не занималась мной. Того-то я и хотел.

— Вот, брат, рекомендую, сын старого приятеля, Антонин Петрович, прошу полюбить — малый славный и добрый.

— Рад сердечно, полноте кланяться, садитесь-ка, будьте как дома.

— Ну, что ты делаешь?

— Да вот слушаю, как ребятишки учатся; ведь моя Дурочка на что другое не то, а на это молодец.

Она так мило усмехнулась.

— А вы, дети, учитесь? — сказал Смыслинский. — Ну, что вы? здоровы ли? Маман где? — продолжал он, обращаясь к Дурочке.

Она отвечала без замешательства, смотрела на него ясно, прямо и кротко унимала детей, которые то и дело шалили.

— Учитесь? — продолжал Смыслинский. — Ну, ты, карапузик, говори: в Испании какой главный город?

— Мадрит! — закричало несколько голов.

— Врете! Кострома! Все дети захохотали.

— А кто построил стены Вавилонские?

— Семирамида! — закричали дети.

— Отвечай один кто-нибудь, — заметила им кротко Дурочка.

— Да чего им отвечать? Какая тебе Семирамида! Вавилонские стены строил Илья Муромец! Они все врут — вот чему вы учите их, Людмила Ивановна? а?

Все захохотали пошлым шуткам Смыслинского.

— Ты все прежний балагур, — сказал Рудольф. — А знаешь ли: я сам бываю всегда при уроке их в среду после обеда. У меня положено по средам, чтобы Дурочка читала им Библию и изъясняла значение того, что читает.

— Мы, стало, перервали вас, — продолжайте, — сказал Смыслинский.

— В самом деле! Продолжай-ка, Дурочка, а тут пришло так хорошо.

Дурочка оглянулась кругом, посмотрела на меня; я потушил глаза, сидел на кончике стула, вертел часовой ключик, и она начала читать трогательное место Евангелия, где Спа-

ситель говорит о блаженстве за гробом, о том, что плачущие здесь утешатся там, что кроткие сердцем узрят бога, что блажен будет тот, кого поносят, изженут, и на кого рекут всяк зол глагол бога ради, ибо многая будет мзда его на небесах.

Нежным, немного дрожащим голосом прочитала она текст, стала переводить по-русски и объяснять детям значение слов и мыслей. Ах! как она показалась мне хороша, очень хороша! Мы все молчали; отец оставил трубку; дети смотрели на нее почтительно. Она говорила так просто, так понятно. Душа сказывалась в словах ее, и вдруг оробела она, как будто испугалась внимания нашего, испугалась, что так смело высказывает свою чистоту, прекрасную душу.

— На сей раз довольно! — сказала она и в замешательстве начала прибирать книги.

— Еще, сестрица миленькая! — сказала девочка с голубыми глазами и русыми волосами, бросаясь на шею к Дурочке.

Шум послышался в передней. Там раздался чей-то громкий, грубый голос:

— Самовара еще не поставили, а я гостей

привела? Где же Дурочка?

— Э-э! гости! — вскричал Рудольф, — и моя благоверная супруга! Пойдемте скорее в кабинет!

Бедная Дурочка! Как она испугалась, побледнела, спешила убирать книги и стол. Рудольф убежал поспешно. Мы остались. Ввалилась толстая фигура, в пестром платье, в оранжевой шляпке, и за ней вползли еще три женские фигуры.

— Что это значит? Что ты до сих пор делала? Где Палашка? аль Филька? опять пьян? Вы что тут толпитесь, огарыши?

Все это сыпалось скоро и быстро из уст первой фигуры, в которой я имел удовольствие узнать супругу Рудольфа.

Смыслинский начал раскланиваться, рекомендовал меня. Дурочка ушла в безмолвии. Дети в испуге убежали Диван за столиком заняли гости. Мы ушли в ту комнату, которую хозяин называл кабинетом. Там была каморка в стороне, с одним окном, где на столе лежало несколько бумаг, разбросаны были обрезки лайки, перчатки, а вокруг на стенах, на полках лежали перчатки дюжинами, и в углу на

одной полке стояло десятка два истасканных книг. Хозяин надевал сюртук.

— Гости! — говорил он. — Дамы! Нельзя, братец, в халате! Извините! Прошу садиться!

Я обратился к книгам; то были старые издания Гете, Шиллера, Лессинга.

— Это еще остатки старые — все растерялось — возьмут почитать, да и разрознят, потеряют — теперь уже я Дурочке препоручил — все у нее... А вы знаете по-немецки?

— Нет! — отвечал я.

— А по-французски?

— Нет! — отвечал я.

— А знать языки не худо и по делам полезно, а иногда и от скуки почитаешь, знаете, что-нибудь. Вот я Дурочке моей так уж запрещаю.

— А ведь она как хорошо толковала, — сказал Смыслинский, — ей-ей! так трогательно!

— Ведь пасторская внучка. То-то и беда, братец, что ума-то только в ней нет, а вот читать либо на фортепианах — так чудо, да и только!

— Ну, а мы ведь к тебе за делом. Садись-ка попросту. Видишь, вот этому молодому чело-

веку препоручили...

Тут начались разговоры о перчатках, об лайке, о мастерах. Рудольф разговорился, постарался выказать все свое искусство и перчаточное знание. Тоненький, робкий голосок раздался за дверью:

— Папенька, пожалуйста чай кушать; маменька ждет вас... — Это была Дурочка. Рудольф продолжал еще толковать...

— Что это значит, сударь? Вас надобно дожидаться — чай простыл! — раздался громкий голос из гостиной. Мы побежали на призыв. — Кланяйтесь, сударь! Мишель! не шали! Ты что там в углу забился, Гришка?

Такими словами встретила нас супруга Ивана Ивановича, сидя на диване и воевествуя над чаем, который страшно тянули гости.

Хозяйка была неумоима: говорила, ела, пила, мазала масло на хлеб, наливала, потчевала.

Мой Рудольф присмирел; грозно сыпались между делом брань, слова, сплетни, крики на детей, которые не знали куда деваться. Только один Смыслинский был неизменяем; он

шутил, говорил, смешил всех...

А бедная Дурочка? Мне жалко ее стало, я не узнавал ее; она сидела в углу, бледнела, дрожала, закуталась в какой-то полосатый платок, и я сам испугался, когда от грозного возгласа мачехи она уронила и разбила чашку... Глаза супруги Ивана Ивановича страшно сверкнули. Умоляющий взор мужа обратился к ней.

— Пошла вон! — вскричала мачеха... Дурочка повиновалась.

Мне горько стало смотреть на тиранку доброго семейства. Я взял шляпу, просил позволения прийти еще раз и ушел...

* * *

Две недели живу я в Москве, и не странно ли? Меня развлекло, заняло семейство Рудольфа, перчаточного фабриканта. Смыслинский рассказал мне семейные обстоятельства своего знакомого.

Он женился уже в немолодых летах, на немке, дочери пастора, также немолодой девушке. У них родилась дочь; то была Людмила. Мать ее умерла вскоре потом. Иван Иванович поплакал, увидел необходимость хозяйки

в доме и пленился дородною дочерью соседа, секретаря уездного суда, Федорой Савишной. Брак их был благословен полудюжиной или больше деток, и Федора Савишна вскоре умела сделаться хозяйкою вполне. Все затрепетало перед ней, и муж стал первым рабом ее. Удивительное дело: он даже так привык к своему рабству, что умел уверить себя, будто он счастлив в семействе, и добрый нрав и простой ум свой умел примирить с вздорливым нравом, охотой к гульбе и неопрятности по хозяйству своей супруги. Федора Савишна первая открыла, что маленькая Людмила — дурочка, и вскоре согласились с нею все домашние, все соседи, все знакомые, и наконец согласился сам отец. Имя Дурочки заменило имя Людмилы. В самом деле, она всегда была молчалива, не умела ни говорить, ни стать, ни сесть и только водилась с маленькими братьями и сестрами, которые любили ее, как послушную служанку. Тетка Людмилы, содержательница пансиона, уговорила отца отдать племянницу ей. Людмила прожила у тетки несколько лет и только подтвердила в пансионе название Дурочки. Ни на одном экзамене

она не отличилась, ни одной награды не получила. Все подружки любили ее, всем услуживала она, поправляла, подсказывала уроки. Тетка определила ее наконец гувернанткой в пансионе своем, а Людмила все-таки осталась душой. Тетка умерла. Дурочку взяли домой; она сделалась управительницей кухни и хозяйства, учительницей сестер и братьев, а все-таки называлась Дурочкой.

— Да почему же так? — спрашивал я Смыслинского.

— Да потому, что она дурочка. Ни слова сказать, ни ответить не умеет, чуть только чужой человек, и готова заплакать, если на нее поглядеть пристально. Дурочка, сударь, она, а какая хозяйка — и предобрая. И сватались за нее, да посмотрят — и в сторону! К тому же у бедного Рудольфа нечего дать в приданое, а куда ныне невесты без приданого? И Федора Савишна любит-таки помотать и одеться, а ведь Дурочке-то ничего не дают; она сама на себя вырабатывает.

Несколько раз являлся я после того у Рудольфа и, к счастью, ни однажды не заставал дома Федоры Савишны. Мы скоро сблизились

с Иваном Ивановичем. Я нашел в нем, точно, доброго, но какого-то нелепого человека. Смесь старого образования с животного жизнью в настоящем, безрассудная добродетель без всякого взгляда на жизнь и чувство ума, заглушённое мелочами жизни. Зачем бросила сюда такого человека судьба? Он мог быть не тем, что был теперь.

Дурочки я не понимаю, и мне досадно. Как безотчетно ее лицо, так как-то безотчетна она вся. Она совсем не красавица, но мало видал я таких милых лиц. Глаза ее бывают иногда так хороши, но обыкновенно они бесцветны; выражение дает цвет глазам. Когда нет мачехи, нет посторонних, она ловка, мила, даже не похожа на мещанку, и — не только мещанка, но трепещущая рабыня бывает она, когда есть гости или когда является мачеха. Страшное слово "Дурочка" она переносит равнодушно, откликается на него.

Мне кажется, что обстоятельства Ивана Ивановича плохи. Я придумал средство лучше сблизиться с ним; сказал ему, что у меня есть две тысячи рублей, которые желал бы я положить в какое-нибудь заведение, распола-

гая перейти на службу в Москву. Иван Иванович предложил мне товарищество. Я просил его принять деньжонки мои из процентов. Это хорошо сблизило нас, и я сделался домашним человеком в доме Рудольфа. Дурочка смотрит на меня, как на Смыслинского.

Нет! не так, как на Смыслинского... Иногда, думая, что я не замечаю, она задумчиво устремляет на меня взор свой и долго глядит, и какое-то чувство как будто жалости, скорби какой-то тогда на лице ее. Если бы она могла понимать... Я продолжаю разыгрывать роль простяка, притворяюсь невеждой. Отец, думая, что я не знаю по-немецки, при ней однажды сказал немцу, своему приятелю, на вопрос, кто я:

— Добряк, честный, но простой мальый! — Дурочка покраснела. Так и я записан в дурачки ими, умниками?

В другой раз тот же немец спросил у него при мне (Дурочки на тот раз не было):

— Я у тебя часто его выдаю? Или он жених твоей дочери?

— Нет! — добродушно отвечал Иван Иванович. — Какой жених! Он очень прост, да и

не богат; куда же им, и как жить, и чем жить?

Я едва удержался от смеха, когда гость-немец важно прибавил:

— О, ја! [1] — Немец был богатый кожевник, и я видел его дочку, которая почти так же высока и квадратна, как бочонок сельдей.

Может быть, так говорится и при Людмиле; может быть, ей приходит в голову: "Он такой же, как я, — дурачок; мы с ним родные! Нас бог свел!" И чувство дружбы и ласки выражается в словах ее...

Мне непонятны, однако ж, знакомства и отношения Рудольфа. Меня он не знает, а называет приятелем. На допрос Федоры Савишны, из моих и Смыслинского речей, они составили себе понятие, что я бедняк, которому дает немного богатый дядя; что я чиновник, присланный по делам каким-то в Москву и решившийся остаться в белокаменной. Я хожу к ним, и обо мне не заботятся: мне ставят в похвалу, что я не пьяница, не мот, умел скопить деньжонок немного, и как ни глуп я кажусь, — я любезный гость их. Каковы же их гости! Бедная Дурочка — и при такой мачехе — нет! Она ни в кого не влюблена, и не ду-

ра она, а только одурела... А в ней есть что-то — я все еще помню ее на вечере у Смыслинского и потом, когда она давала урок братьям и сестрам... Но что мне до того? Так, ничего! — Она занимает меня — а что бы стал я делать теперь в деревне?.. Тоска, грусть убили бы меня... О Паулина, Паулина!

* * *

Забавные следствия!

Вчера пришел я к Рудольфу после обеда. Он спал. Дурочка сидела одна и что-то шила. Ласково, как обыкновенно, встретила она меня и просила подождать, пока проснется отец. Мы оба молчали.

У меня недоставало как-то духу играть мою роль простяка. Дурочка, казалось, была в замешательстве, в каком-то беспокойстве; грудь ее сильно волновалась, на щеках выступил румянец — она была так мила... Как будто что-то хотелось ей скрыть или высказать. Против обыкновения, она сама начала разговор.

— Долго ли вы проживете еще в Москве?

— Сам не знаю, — отвечал я.

— Я слышала, вы хотели определиться

здесь на службу?

— Полагаю. Москва мне нравится.

— А Петербург не нравился?

— Нет, и он нравился.

Дурочка улыбнулась. В самом деле, я говорил довольно глупо.

— Скажите, Антонин Петрович, чем же вы теперь занимаетесь здесь?

— Я? Почти ничем.

— И вам не бывает скучно?

Тут был случай пуститься в комплименты, которые даже и глупость позволяет себе говорить, если не от нее только они и происходят. Но, право, я нисколько не думаю волочиться за Дурочкою, и теперь особенно; выражение лица ее было так детски простодушно, речи ее были так младенчески сердечны...

— Иногда очень скучно бывает, — отвечал я.

— Не потому ли, что вам нечем заняться?

— Правда, сударыня.

— Для чего же не приищете вы себе какого-нибудь занятия?

— Какого же?

— Например, чтение. Вот самое приятное

упражнение.

— Я и то, сударыня, записался в библиотеку и читаю. Я люблю читать.

— Что же вы читаете?

— Романы.

— Это значит терять время по пустякам.

— Помилуйте! Да разве вы их читывали?

— Весьма немного, по выбору папеньки.

Но есть столько полезных книг, которые вам надобно бы... Может быть, вам не худо бы прочесть... Мне жаль, Антонин Петрович, что вы вообще не любите ученья!..

— Сударыня! — сказал я с замешательством, — я любил бы его, но ведь меня не учили ничему...

— Начните сами теперь учиться.

— Мне будет стыдно.

— Никогда не стыдно учиться. Поверьте, Антонин Петрович, я принимаю в вас участие, как в родном. Папенька очень любит вас. Начните учиться. Начните читать полезные книги. Вам они понравятся.

— Сударыня! если вам угодно...

— Я желаю вам добра, — сказала она так добродушно, что и тени кокетства тут не бы-

ло.

— Выберите мне сами что-нибудь.

— Вы согласны? — сказала она весело.

Послышался голос Рудольфа. Он вошел с своими обыкновенными шутками.

— Папенька! — сказала Дурочка, — я удержала Антонина Петровича.

— И хорошо сделала.

— Мы разговаривали с ним.

— О чем же?

— Он просит у меня книг.

— Вот? Это новость — примись, брат, за книги — худа не будет! Давай-ка чаю да трубку, Дурочка.

Она весело убежала.

— Предобрая ты! — сказал старик, глядя вслед за нею. Он был теперь в добром расположении и начал говорить мне о пользе образования, о выгодах его, даже для службы. Пришли вечные гости его, немец-кожевник и еще немец-колбасник. Я стал прощаться. Дурочка подошла ко мне.

— Вы хотели, чтобы я выбрала вам книгу?

— Ах! сударыня...

— Возьмите вот эту книгу на первый слу-

чай.

То был "Робинсон" Кампе. Я взял его с поклоном. Но у меня не достало духу ни тогда, ни потом смеяться. Она хочет приучить меня к чтению, как дитя, и ее детское желание так просто и так добродушно в ней...

Чувствую, что свет еще не погубил души моей.

Я возвратил ей "Робинсона" через три дня и благодарил ее, уверяя, что многое тут было для меня совершенною новостью.

— Нет ли у вас еще чего-нибудь? Признаюсь, мне стыдно показалось, сударыня, что до сих пор читал я только романы.

— В самом деле? — радостно вскричала Дурочка. — Папенька! Это добрый знак — он полюбит чтение и станет учиться, — сказала она по-немецки отцу своему.

— И хорошо сделает! — был ответ старика. — Опять должен был я выслушать речь его о том, как полезно образование, даже и для службы. Дурочка вручила мне, кажется, "Детскую энциклопедию" какую-то.

Через два дня я принес ей микроскоп.

— Сударыня! — сказал я, — посмотрите! Та-

кие чудеса я начитал в вашей книге и так мне стало любопытно, что нарочно купил я — и какие тут диковинки я увидел!

Радостно изумилась Дурочка. Она поглядела на меня пристально, как опытный ученый, взяла она потом микроскоп и целые два часа изъясняла мне, отцу и братьям разные чудеса так хорошо, так подробно. Теперь был мой черед изумляться.

Передача книг продолжалась.

— Для чего не учитесь вы языкам? — сказала мне Дурочка. — На русском языке еще так мало книг написано...

— Вы говорили мне, сударыня, что не худо учиться языкам, — сказал я ей через неделю. — Знаете ли, что я беру теперь уроки немецкого языка?

— В самом деле?

— И уже начинаю читать...

— Ах! прочитайте мне что-нибудь!

Она подала мне какую-то учебную немецкую книжечку; я начал читать, нарочно ошибался; она поправляла меня — и, в забывчивом усердии, села так близко подле меня, что локон ее, скатившись с ее головы, касался ли-

ца моего — русый, прелестный локон, и пестрая косыночка небрежно свалилась у нее с плеча. Каждое душевное движение всегда оживляет лицо ее таким живым румянцем. Теперь оно алело от радости. Дочь природы! Она не умеет скрывать своих чувств, как другие. Прошло несколько минут, она оглянулась сама на себя, поправила локон и косынку и потупила глаза...

— Ах! сударыня! — сказал я, — учите меня, сделайте милость; я как-то у вас так легко понимаю...

— Вы шутите, — сказала она смеясь.

Новость о моих познаниях в немецком языке была пересказана отцу и заставила его восклицать:

— Браво, браво!

Теперь я учусь у Дурочки.

* * *

Она меня обманывала — эта Дурочка! Как ученик, оставаясь иногда с нею, когда нет отца, я заслушиваюсь речей ее — так увлекательно и умно говорит она. Не думал я никогда, чтобы молоденькая девочка, мещанка могла так говорить...

Но меня очаровывает при том в ней простота, добродушие, каких я также не видывал. Преступная мысль не смеет явиться перед нею...

Боюсь, чтобы мне не влюбиться в нее. Чувствую, что в тот день, когда не побываю я у моего перчаточника, мне уже чего-то недостает.

Мое положение становится затруднительно. Я должен выйти из моей роли простяка. Какое странное сцепление случайностей завело меня к Рудольфу! Могут открыть мое притворство. Чем оправдаться? Лгать? Из чего же? Я не люблю, я не могу любить ее... Боюсь любить кого-нибудь... О Паулина, Паулина! у меня нет сердца для других, после того как ты отняла и растерзала его...

* * *

— Антонин Петрович! для чего вы всегда так пестро одеваетесь? — сказала мне Дурочка.

— Вам не нравится?

— Да, мне кажется, черный фрак был бы лучше для вас.

Через два дня явился я в черном красивом

фраке; Дурочка посмотрела на меня с изумлением и сказала:

— Как вам идет этот фрак — вы выглядите другим человеком!

* * *

Мечтательность, мне кажется, шестое чувство у немок, и Дурочка моя не изменила своему немецкому происхождению. Ее маленькая головка также кипит идеалами и мечтами.

Мы разговорились с ней об ее матери, которую она едва помнит, и я также едва помню мою бедную мать... Память об ней меня всегда трогает; наше сиротство сблизило нас; мы казались друг другу братом и сестрой. Я забылся и говорил так, что у бедной Дурочки навернулись слезы.

— Не может быть, чтобы из-за гроба не было нам ответа от тех, кого мы любили, кого мы здесь любим, и чтобы они в лучшей жизни забыли об нас... — сказала она.

— Но какой бывает ответ?

Мы заговорили о предчувствиях, сочувствиях, явлениях покойников, перешли к ворожке. Дурочка всему верит, убеждена в сво-

ей вере и чуть меня не обратила в духоверцы. Она утверждала, что умом нашим мы тут ничего не разгадаем, и пересказала мне несколько повестей о том, чего человек никак изъяснить не может. Я спорил; она досадовала и ссылалась, между прочим, на общее поверье всех народов к чудесному. Мне хотелось доказать ей, что у русских нет таких поверьев. Вот случай, который пересказала она мне после того, когда я утверждал, что святочная ворожба наша — просто игрушка для русских девушек.

— Давно когда-то, в Новгороде, помнится, была у боярина или богача какого-то дочка-красавица. Она никого еще не любила, хоть все женихи на нее заглядывались. "Что ты, моя матушка, не погадаешь о своем суженом?" — говорила ей няня-старуха. "Я не верю гаданью", — отвечала красавица. "Как не верить ему, матушка: испытай; авось и тебе скажется твой суженый". Красавица согласилась. Около полуночи няня и красавица ушли в отдаленную комнату, постлали скатерть на стол, поставили два прибора, зажгли две свечи; красавица села на одном стуле, другой,

против нее, остался для незнаемого гостя. Ударило полночь. Повеял легкий ветерок, и на стуле сел какой-то гость, мужчина, молодец собой, только такой печальный, что красавице грустно стало. Ей казалось, будто она где-то видела своего гостя, подумала она даже, что гость нарочно призван няней, и почти уверилась в том, когда гость подошел к ней, протянул руку и молча указал ей на дверь, как будто звал ее уехать с собою. Тихонько отрезала она лоскут от его богатого зеленого кафтана, встала, хотела подать ему руку, как вдруг запел петух, и гость пропал, будто его и не бывало. Красавица проснулась, видит в окно, что уже светает; свечи догорели; няня спит в стороне. Красавица подумала, что все то был пустой сон, но в руках ее остался лоскут, который она отрезала от зеленого кафтана суженого. Тут она задумалась и долго после того искала и не находила того, кого видела она во сне или наяву, сама она не могла сказать. Вот к отцу ее опять приехали свататься за красавицу. Она слышать не хотела. Отец говорил ей, что жених ее молодец, красавец, богач. "Пусть он приедет, — отвечала

красавица, — я посмотрю". — Приехал жених, с большим поездом; красавица взглянула на него, затрепетала и сказала, что идет за него. Он был тот самый, кого видела она во сне. Свадьба была великолепная, долго шел пир. На другой день молодые стали собираться к отцу и к матери на красный стол. Муж красавицы задумался. "Какой кафтан надеть мне?" — говорил он. "Нет ли у тебя зеленого кафтана? Надень зеленый кафтан", — сказала ему красавица. Тут взгляд его сделался угрюм. "Я не надену зеленого кафтана", — сказал он. "Почему же?" — "Так. У меня сроду был один такой кафтан, да с ним какое-то чудо случилось". — "Какое чудо?" — "Бог весть: только что сшили мне его; о святках я хотел его надеть, посмотрел: на кафтане прореха, точно как будто кто-нибудь ножом вырезал — мыши не могли так проесть". — "Что же ты сделал?" — "Не к добру показалось мне — я посоветовал с знахарями, и они сказали мне, чтобы я сжег кафтан, а не то быть худу". — "И ты сжег его?" — "Нет! он и теперь у меня цел". — "Покажи мне его, авось я поворожу тебе на него счастье". Муж и красавица пошли в кла-

довую, где хранились у него платье, конская сбруя и оружие. "Вот кафтан", — сказал он, снимая его с гвоздика и показывая молодой жене. Красавица вынула лоскуток из кармана, приложила, и он как раз пришелся к кафтану. "Ты колдунья проклятая! — вскричал муж. — Ты заколдовала меня, недаром я любил тебя так сильно, что отбился от хлеба и соли!" Он выхватил острую саблю и с одного маха отрубил голову красавице.

— Что же? Из вашего рассказа я одно понимаю, что любовь может быть в самом деле колдовством и что прекрасные глаза точно нас приколдовывают.

Говоря, я смотрел на Дурочку. Слово "любовь" как будто испугало ее; она замолчала и задумалась.

* * *

В самом деле, мне кажется, что Дурочка меня приколдовывает каким-то чувством странным, непонятным. — Нет! оно очень понятно... Паулина, неверная Паулина! простишь ли ты меня? — Я люблю Дурочку! И почему мне не любить ее?.. Нет! я не хочу ни любить, ни влюбляться. Мое знакомство за-

шло слишком далеко; завтра же уеду... В чем пропало у меня несколько месяцев? Вступлю опять в службу, поеду в Петербург. Нет! Мне пора ехать в деревню... А мне хотелось бы еще раз встретиться с Паулиной... Где она теперь? Счастлива ли она?

Я простился с Рудольфом; сказал старику, что еду в Петербург и ворочусь скоро в Москву. Он обнял меня дружески. Дурочки на сей раз не было дома; не знаю почему, я порадовался...

V

Какая тоска, какая грусть в такой глуши, в степной деревне дяди моего! Хозяйством заниматься я не умею, и что за занятия в овинах и стогах сена? И на что мне деньги? И без того мне девать их некуда...

У дяди нашел я огромный запас хлеба и наливок и ни одной книги — я стал бы хоть читать, помня совет Дурочки... Что-то она теперь делает, милая Дурочка?

Невольно приходит мне в голову, что едва ли то время, которое провел я в знакомстве моем с Рудольфом, не было самым веселым

временем жизни моей. Я забылся тогда в каком-то детском чувстве...

А ведь она мила! Любить она не может, но может сделать счастливым своего мужа. Не знаю, как люди женятся без любви и бывают счастливы, но счастливит ли нас любовь? А если она меня любит, с ее мечтательной головкой... Вот что пришло мне в первый раз на мысль!

Женщины — загадка непостижимая; любовь их еще более запутывает... Как любил я тебя, Паулина, и что ты любила меня, в том я не смею сомневаться... Но как мгновенно, как безотчетно, безмолвно разошлись мы с тобой, когда мне надобно было броситься в объятия друг друга...

Нет! ты не любила меня, Паулина! Зачем же так мучила ты меня?..

Мысли мои бессвязны. Чувствую, что нынешнее жите мое, уединение, пустота души моей сведут меня с ума. Наступит зима, поеду в Москву, опять увижу Рудольфа и Дурочку, скажу ей, что я люблю ее; в самом деле, я ее люблю... как любят детские проказы и шалости. Но что же такое и любовь, и жизнь? Ша-

Как? Быть накануне своего счастья, своего блаженства, а не знать о том? Для чего же, судьба, даришь ты нас и бедами, и радостями, не давая приготовиться ни к тому, ни к другому? Разве от счастья нельзя так же задохнуться, как и от бедствия умереть?..

С чего мне начать? Как все случилось? И как весело, однако ж, отдавать себе отчет в нашем счастье, припоминать себе все его подробности...

Мне надобно было съездить в наш губернский город. Там познакомился я с нашим предводителем. Он звал меня к себе. Приезжаю, и — первый предмет, который встретил я у него, была Прасковья Ивановна. Вид этой женщины заставил меня испугаться! Как же изумился я, когда она встретила меня радостными восклицаниями:

— Что это, батюшка, Антонин Петрович? Вас ли я вижу? Сколько времени мы не видались с вами?

— Мне показалось, сударыня, — отвечал я, — что времени вы не могли заметить...

— Вот уж это грешно — помнить старое! Может быть, и точно, господь наказал меня, что я хотела перехитрить все умом своим и не видела руки его всемогущей, которая против воли ведет нас к добру...

Она утерла глаза платком. Тут только заметил я, что она в трауре,

— Сударыня! — сказал я, — вы кого-нибудь лишились?

— Да, господь не помиловал!

— Неужели Паулина... — Я не мог договорить.

— Нет! Мы лишились отца ее; наш добрый старичок отправился в царство небесное...

— По крайней мере, — сказал я отдыхая, — вы можете порадоваться на счастье вашей племянницы...

— Какое счастье? Видеть, как она крушится и умирает, что цветочек, скошенный на поле...

— Паулина? Что это значит? Разве ее супружество...

— Какое супружество? Вы меня удивляете. Неужели вы не слышали...

Тут помешали нам говорить. Я был как на

иголках, смотрел на Прасковью Ивановну и не узнавал ее. Вместо гордой, нахальной женщины я видел смиренную, печальную старушку. Неизвестность о судьбе Паулины терзала меня... Тут только узнал я, что я все еще люблю ее... Едва мог я дожждаться, пока можно было опять заговорить мне с Прасковьею Ивановною.

— Вы помните, что я, грешная, вздумала тогда располагать судьбою моей племянницы. Мои все были затеи. Гусарский ротмистр граф *** казался мне достойною партией; он был первый жених по Москве...

— Мне казалось, он был влюблен в Паулину...

— О! да как еще влюблен!

— И что она любила его...

— То-то и беда, что нет!

— Она его не любила?

— Каюсь — я располагала так, что всякая любовь то же для девушки, что куклы, которыми она играет в детстве; что Паулина подумает о том, какой блестящий каррьер ей откроется, какую прекраснейшую партию она сделает... И что же, сударь, вышло? Думая, что

все дело уже слажено, я приняла предложение графа, сказала Паулине, а она отказала мне начисто! Я рассердилась на нее, а она наговорила мне бог весть чего: "Хочу любить того человека, которому отдам руку, — хочу быть им любима..."

— Она говорила вам?

— Да, и так притом плакала, что я подумала: не влюблена ли уж она в кого-нибудь... Простите, я ведь с вами, как с родным говорю; привыкла считать вас семьянином...

— Сударыня... но Паулина...

— Она ничего мне не сказала, как я ни спрашивала ее, — она только плакала, делалась больна...

Я не смел спросить...

— Вот, графу мы отказали, хоть вся Москва дивилась такому отказу. Тут батюшка Паулины скончался — царство ему небесное! Немного осталось после старика. Любил пожить, да и семья большая — чего стоило одно воспитание... Я напомнила Паулине о графе, о том, как бы она была теперь богата и счастлива... Да подите переуверьте упрямые головы. "Богата была бы я, тетенька, — сказала она

мне, — но не была бы счастлива — мое счастье не с ним!" — "С кем же?" — Вместо ответа она заплакала только и замолчала. "Но ведь теперь у тебя нет приданого... Ты бедная невеста..." Видите, я не сказала ей, что все мое именишко я уж укрепила ей — на всякий случай — час воли божьей неизвестен. У меня детей нет, а я люблю Паулину, как дочь, и пятьсот душ все-таки имение, так что если бы точно выбрала она по сердцу человека и у него ничего не было, имение не должно ее останавливать...

— Прасковья Ивановна! вас ли я слышу?

— Не так прежде я думала. Ах! горе, ба-тюшка, и обстоятельства изменяют многое. И добрая Паулина, с тех пор как живет со мною, так переменяла она меня — какая ангельская душа...

— Вы живете в Москве еще?

— Нет! я рассталась с Москвою, а теперь еду туда окончить только разные делишки и навсегда потом поселиться в деревне моей...

— Но как же я имею удовольствие видеть вас здесь?

— Вы забыли разве, что деревня моя в со-

рока верстах отсюда; завтра я еду в Москву; зайдите ко мне, Антонин Петрович; Паулина рада будет вас видеть...

— Разве она здесь? — спросил я, едва удерживая трепетное движение сердца.

— Здесь, и мы не расстаемся с нею, и сколько раз она у меня спрашивала об вас... Она вас помнит... Ведь я не говорила ей о том, что так грубо и дерзко отказала вам от нашего дома. Паулина надивиться не могла, куда вы девались и почему перестали вы ходить к нам?..

О! в каком ясном свете предстала тогда мне и как оправдалась передо мною Паулина, и как жаль стало мне бедной старухи Прасковьи Ивановны, которая так истинно сознавалась в вине своей передо мною...

Но я не смел еще верить, не смел даже думать... хотя из слов старухи понимал... Видеть, видеть еще Паулину хотел я и увериться...

Ждать ли утра? В провинциях люди обходятся проще и сближаются легче, а может быть, завтра они уедут...

— Дома ли Прасковья Ивановна? — спро-

сил я в передней,

— Их нет у себя, — отвечал мне слуга и вдруг закричал радостно: — Вы ли, Антонин Петрович? — Я узнал старого камердинера отца Паулины. — Откуда, сударь, вы взялись, неожиданный гость! Пожалуйста, пожалуйста. Барышня дома — она гуляет в саду — позвольте, я позову ее...

— Нет! — сказал я, — я сам пойду туда. И с волнением сердца пошел я в небольшой садик. Как встретимся мы с ней? Что она скажет? Неужели...

Я увидел ее; в черном платье, в простой шляпке, тихо, задумчиво шла она по аллее. — Она, все та же, чудная, очаровательная Паулина, но еще лучше, еще очаровательнее прежнего, в простом платье, с задумчивостью на лице. Она оборотилась и казалась изумленной.

— Вы не узнали меня, Паулина?

Она покраснелась, потупила глаза, тяжело вздохнула:

— Вас не узнать?

Как пролетели потом часа два, я не помню. Уже темно становилось, когда мы слышали

голос Прасковьи Ивановны. Паулина ахнула, заговорившись со мною; она не заметила, что я держал руку ее и целовал ее прекрасную руку. Мы говорили о прошедшем, о годах нашего детства. Мы свиделись, как брат с сестрой. Паулина рассказывала мне о том, как надоела ей шумная жизнь московская, как рада она укрыться в деревню!..

— Вам ли могла надоесть Москва? Вы царствовали там! — сказал я.

— Будто вы не знаете, что так угодно было моему папеньке; он не мог жить нигде, кроме Москвы.

Я хотел говорить, хотел броситься к ногам ее, сказать ей все, и не смел...

Мы пошли с теткой в комнату. Старушка была так говорлива, так добродушна; десять раз принимался я за шляпу и десять раз бросал ее.

— Вы едете завтра? — спросил я наконец.

— Рано утром. Мы теперь простимся с вами.

— Нет! — вскричал я вне себя, — я не прощусь с вами мы не расстанемся более!

— Я вас не понимаю, — сказала с изумле-

нием Прасковья Ивановна.

— Паулина! И вы не понимаете?

Она потупила глаза и закрыла их платком.

— Что это значит, Паулина? Вы плачете!

— Я начинаю понимать, — сказала с улыбкою Прасковья Ивановна. — Так не с ним ли ты надеялась быть счастлива?

Вместо ответа Паулина бросилась к ней на шею. Я упал на колени перед старушкою.

— Полноте, полноте, дети! — сказала она, — сядьте, Антонин Петрович; садись, Паулина! Избави меня бог противиться вашему счастью; теперь я понимаю, о ком вздыхала ты, Паулина, но подумали ль вы о будущем? — Жизнь, друзья мои, требует многого! — Паулина! ведь ты знаешь, что у тебя ничего нет.

— Мой Антонин ничего не потребует, — отвечала она. — Он беден, я также; он может служить, я могу работать. Он получит место...

— Ты — работать? — вскричал я. — Нет, нет! чудная Паулина! Тебе не надобно будет работать — я богат!

С изумлением взглянули на меня обе. Я должен был рассказать о полученном наслед-

стве. Через несколько минут поцелуй жениха был залогом вечного счастья моей жизни...

VI

Отрывок из письма графа *** к его приятелю, в Одессу

"...а в самом деле, милый George, Москва охотница женить. Женитьба в Москве, что чума в Царьграде. Твой ветреный друг чуть было не попался в когти свах. Невеста моя была, в самом деле, хороша как, как... прищипи сам сравнение. Клянусь тебе, что она была первая в московских собраниях, так хороша, что я завздохался по ней, хоть сама она вовсе не охотница вздыхать, хохотала и кокетничала со мной и до того вскружила мне голову, что чуть было я не предложил красавому ее личику руки и сердца, и пустого портфеля, где у меня куча старинных грамот и страшный недород ассигнаций. К счастью, я скоро одумался, провальсировал с ней любовь мою; остатки моей страсти выдохлись на дороге до Петербурга; следы пропали в лагере под Красным Селом. Впрочем,

как подле каждого яда природа ставит и лекарство, так и подле невест всегда находится лекарство самое верное — тетки, должность которых состоит в изыскании средств показывать товар лицом. Не понимаю, как находятся еще дураки, которые попадают в грубые сети, какие расстилают им тетки невест. С усиленным просвещением такой способ сбывать невест непременно изменится. Лучшей забавою моею в Москве было заставлять работать умы теток, сбывать их с толку, путать и ссорить их между собою. У моей красавицы чудная тетка, какая-то madame Свистунова, Драгунова или что-то на то похожее. Тетушка работала на славу, и умею только я писать комедии, мой первый сюжет был бы: "Тетка, или Искусство сбывать племянниц". Воображаю себе, топ cher [2] George, как легко может попасть неопытный молодой человек и как легко женит его такая тетка на спазмах и мигренях в виде красивой невесты, с придачею душ, заложенных в ломбарде, даже — страшно подумать — вовсе без прида-

ного, хоть невеста в таком случае похожа на выпитую бутылку шампанского..."

* * *

Отрывок из письма Прасковьи Ивановны Свистуновой к ее приятельнице, в Кострому

"...По крайней мере я недаром ездила, и, слава богу, топ соеиг [3], дело порешили и Полиньку пристроили. Худые времена приходят; на хлеб все недород, а на невест такое обилье; молодежи много, а женихов со свечкою ищешь — кто промотался, кто пошел в философы, кто сам ловит, как бы жениться повыгоднее, а не то чтобы по любви, как, бывало, ищут только сердца да души, а не приданого да душ. Уж этот мне граф ***, примером сказать: чуть было не провел меня! Хороша бы я была, взявшись устроить участь Полиньки, да отдала ее за его гусарскую щегольскую одежду, когда у молодца-то есть ли, полно, что-нибудь, кроме сиятельного титула! Ведь только и ждала, что предложение сделает, а как после разузнала, так сама ахнула и руками схлопнула. За кого было при-

няться? Оставался Фитюлькин — малой бы и туда и сюда — ну, да ведь уж так глуп, топ соеиг, из рук вон, а Курочкин проигрался начистую разбойнику Утюжникову. Правда и то сказать, что Полинька была сама чересчур бойка и ловка и по три зимы являлась первою невестой; все разбирала да выбирала и рисковала было явиться на четвертую зиму в собрании. Боже сохрани! если бы из-за нее, да появилась какая-нибудь впервые — долго ли в засиделье попасть! А на расчеты была она плоха — все ветреничала и не помогала ни мне, ни отцу к устройству счастья и судьбы. Да и от старика отца, когда еще и паралич-то его не разбивал, толку было мало. Настоящий увалень, прости господи! О деле не подумает — только клуб да вист. Уж, кажется, во все глаза глядишь — и тут, право, ладу не приладишь, а эти люди сидят сложа руки да хотят, чтобы дочери их замуж выходили! Ну, как-таки им и об Антонине не знать, что малый наследство получил? Ныне уж и с сотнями появится, так с руками оторвешь, а тут ведь тысяча, да

какой народ крестьяне, посмотрела я! После, как узнали, так на меня же вскинулись: "Ты прогнала его, ты отказала ему!" — Господи боже мой! как же не отказать было? С одной стороны граф, с другой голый молодец вздыхает, ездит, ухаживает и вздумал уж и поговаривать... Полинька стала жаловаться, что любовь этого подьячего ее компрометирует. Я ему и отшибла разом крылья — он пропал куда-то. Но если и была я невинной причиной, так успела потом и устроить все и в совести моей теперь чиста! Разведавши, что он живет в деревне, я очень испугалась. Долго ли до беды! От скуки женится на какой-нибудь деревенской пирожнице. Ждать было нечего; я вспомнила, что у меня там кстати деревнишка, не обленилась, взяла Полиньку, села в карету и поехала сама. Слава богу! все так устроилось, как я желала. Предводитель мне дальняя родня; я у него успела свидеться и, знаешь, подноровилась под характер нашего женишка, что он, как угорелый, тотчас и прибежал. Уж я тебе лично потом расскажу, как трогательно было, топ

соеир; как увидевши его, что он бежит, я не сказала дома, Полиньку послала в сад, будто гуляет, и его велела туда же провести. Полинька так уж умно тут себя вела, что он без ума стал. И как сказали ему, что будто едем на другой день, он и в ноги мне. Право, уж и я наплакалась, как было трогательно, топ соеир! Поскорее просил сыграть свадьбу; вместо Москвы отправились мы в его деревню, да там и свадьбу сыграли. Жених на радостях просил меня уничтожить запись на имя Полины моего имени, а записи-то, правду сказать, вовсе и не было; я уж ему так сказала, чтобы не выставить ее вовсе без приданого. Полинька очень плакала, расставаясь со мною; ей хотелось в Москву, но я подтвердила, чтобы они год либо два не выезжали из деревни. Пусть наглядятся друг на друга, и тем веселее будет им приехать потом, пожить и погулять. Ну, бог с ними! пусть себе живут да проживают — ох! бишь: наживают — ошиблась, тороплюсь отправить письмо... Обнимаю тебя, топ соеир!.."

VII

По Тверской или по Никитской, не знаю, кактась карета и остановилась у подъезда богатого дома. Лакей в галунах отворил дверцы. Из кареты выпорхнула прелестная, богато одетая дама, за нею вышел мужчина. Можно было биться об заклад, что то были муж и жена. Сидя в карете, он угрюмо прижался в угол с левой стороны; она глядела рассеянно в правое окно кареты; он спокойно смотрел потом, как лакей помогал даме выходить, тихо вылез, что-то проворчал на лакея и медленно поплелся по широкой лестнице, не думая догонять дамы, которая летела вперед перелетным ветерком. Звонок из швейцарской дал знать о приезде гостей. Хозяйка сидела в своей гостиной; подле нее стояла кормилица с маленькой дочерью на руках.

— Ах! какая малютка! какой амурчик! — сказала гостья, весело лаская ребенка, после первых приветствий. — У вас много детей, княгиня?

— Как же, есть с полдюжины!

— Покажите мне их! Хочу всех их видеть и

расцеловать!

— Княгиня дернула за звонок.

— Вели мамзель Рудольф привести сюда детей! — сказала она вошедшему слуге.

При сих словах, казалось, ожило лицо гостя, мужа красавицы. Он сидел безмолвно в креслах до тех пор, полусловами прибавляя кое-что к речам жены, которая смеялась и разговаривала с княгинею.

— А у вас, Паулина, нет детей? — спросила княгиня гостью, усмехаясь.

— Нет! — отвечала гостья, мило улыбнувшись.

Тут вошли дети княгини. С ними вошла молодая гувернантка. Она была девушка хорошенькая, стройная, одетая просто и мило.

Пока гостья ласкала и целовала маленьких княжон и княжат, муж гостьи с изумлением смотрел на гувернантку, как будто узнавал в ней что-то знакомое. Внимание, движение его, видно, были чем-то необыкновенным. Жена его занималась малютками, а между тем взор ее успел скользнуть мимоходом по лицу мужа, обратился незаметно на молоденькую гувернантку, заметил бледность на

ее лице и потом жар, вспыхнувший на щеках ее. Если без любви может быть ревность, если на прекрасном лице может выражаться злость, мы сказали бы, что взор гостыи-красавицы выражал то и другое. Улыбка не слетела с уст ее, но к княгине повернулась улыбка ее ласкою, а к мужу каким-то презрением.

Какая длинная история заключалась в мимолетных взглядах, которые незаметно бросили друг на друга три человека!

Муж казался в замешательстве и, как будто не зная что делать, неожиданно обратился к гувернантке:

— Mademoiselle Roudolff... charme... de vous rencontrer... [4]

Она низко присела.

— Ваш папенька...

— Я лишилась его уже давно, — сказала она дрожащим голосом.

— Он скончался?

— Да, он умер уже больше года.

Княгиня с любопытством поглядела на гостя и на свою гувернантку.

— Вы знакомы с мамзель Рудольф?

— Я имел честь знать ее папеньку — по-

чтенный человек, — сказал гость, стараясь показаться невнимательным...

Визит продолжался недолго. Муж с женой молчали потом, сидя в карете.

— Мне очень было приятно увидеться с одной из прежних ваших знакомых, — сказала жена.

Муж молчал.

— Вкус ваш был очень недурен... Он все еще молчал.

— Она дочь какого-то сапожника, сказала мне княгиня...

Карета поравнялась с Английским клубом.

— Стой! — закричал муж, — высади меня здесь! — Он вылез из кареты.

— К княгине Сплетниной! — сказала жена, поправляя свое дорогое боа, когда лакей хлопнул дверцы кареты.

Карета помчалась по улице. Многие заглядывались на прекрасный экипаж и на прелестную женщину, которая сидела в такой щегольской карете...

* * *

Месяца через два тот самый муж сидел в своем кабинете; наступала осень; камин то-

пился; он был один, сидел в больших креслах и безмолвно смотрел на огонек в камине. Ловкий камердинер его вошел и с таинственным видом подал ему какое-то письмо. Тот схватил письмо, дал знак камердинеру выйти, с жадностью прочел письмо и опять сел неподвижно, как будто вся жизнь его уничтожилась на то время...

* * *

"Вы требуете ответа, Антонин! Вам мало того, что свидание с вами заставило меня изменить несчастной, роковой тайне моей; вы хотите ответа, вы говорите, что вы несчастливы, что слово мое вас осчастливит; вам мало видеть: вы хотите слышать, что я вас люблю; вы услышите теперь мое признание — в первый и в последний раз, но вы не увидите меня более — никогда, никогда... Мы можем оба погибнуть, я и без того давно погибла для самой себя... Теперь, при начале вечной разлуки, Антонин! слушайте: я вас люблю, люблю больше жизни моей! Можете скрыть мое письмо, можете показывать его всем, жене вашей, целому миру... Хоть один раз в жизни я скажу смело людям, что ни их воля, ни воля

судеб, ничто не властно запретить мне любить вас...

Но слово "люблю" будет последним прощальным словом, после него вы не услышите от меня ни одного слова — никогда не увидите меня...

Антонин! За что вы погубили меня! Что я вам сделала такое, за что вы стали для меня карою небесною? Искала ли я вас? Звала ли я вас... Не вы ли сами нашли меня, не вы ли увлекли меня в бездну страсти, в которой уничтожилось для меня все бытие мое? — Будущее для меня не существует — прошедшее отравлено — настоящее... ужасно!.. Но нет, Антонин! благодарю вас: вы были моим ангелом-оживителем, вы показали мне цену бытия, вы показали мне, как может, мог бы быть счастлив человек на земле... С высокой горы видела я обетованную землю — страшная бездна разделяет меня от той земли — что нужно! Я видела роскошные сады ее, на меня навало райским благоуханием заповедных ее рощей...

Неужели я не права перед богом, перед людьми, перед моими родными, перед вами,

перед собою? Оправдываться мне трудно, мирской суд тяжел, но есть суд другой... там оправдают меня... В последний час бытия моего буду я молиться только о том, чтобы перед тем судом никто не был обвинен за меня — пусть лучше я страдаю за всех...

Иногда, даже теперь, думаю: за что была суждена мне такая страшная судьба? Чем я виновата, что с колыбели моей легло на меня знамение Каинова проклятия?.. Всем были радости на свете, всем было счастье... но я казалась сиротой среди родных, и с насмешкой люди заклеили меня названием дуры — да, я точно была дура... Но и у меня сыскалось свое счастье. Разве не счастье было то, что я утешала отца моего, когда, растерзанный горестями по делам, страданиями в семействе, он видел мое сострадание, мою любовь к нему? И как часто слеза еще катилась по его щеке, а моя ласка уже возвращала на уста его улыбку, и он, смеясь, говорил мне: "дурочка"? — Не счастье ли было и то, когда я просиживала ночи за ученьем, думая, что потом могу образовать братьев, сестер своих, когда потом учила их, передавала им понятия о бо-

ге, о человеческом достоинстве... Они не забудут меня... Они вспомнят дурочку, сестру свою... Не счастье ли было и то, когда я могла потом трудами своими помогать бедному отцу, разоренному, лишенному всего, на старости, под конец тяжелой жизни... Так, и для меня было счастье, но для чего вылетела я из-за той очарованной черты, которую обвела вокруг меня судьба, — для чего потребовала любви сердцу моему, ответа душе моей... Быть душой было мое назначение...

Да я ли была в том виновата? Вы, Антонин, явились передо мною. И теперь не понимаю, для чего было вам так зло шутить, так обманывать мое легкоеверие? Для чего? Из бесчеловечного желания посмеяться надо мною?.. Чем могла я обольстить вас? Обольщала ли я вас, бесчеловечный? Изменил ли мне хоть один взгляд... и мог ли он изменить? Сама я не знала, не заметила, как вы овладели моею душою и отняли ее у меня...

Я отличила в вас человека между нечеловеками, которых видала; на прекрасном, благородном лице вашем, казалось мне, я читала так много, и радостно думала я, что душа ва-

ша должна сказать самой себе; я кликнула ее, и мне показалось, что она отозвалась на голос мой... Помните ли тот день, когда я в первый раз уговаривала вас учиться, читать? И вы так лукаво притворились передо мною — я думала быть Пигмалионом для статуи... Мечты мои, адский подарок человеку... но...

Для чего вспоминать мне былое? Для чего говорить, что ваше удаление, непонятное бегство ваше раскрыло мне, что вы заколдовали меня, что я люблю вас... Я рассорилась после того и с жизнью моею, и с собою.

И какой ужас обнял меня, когда я узнала, что вы были не то, чем казались, что вы человек богатый, светский, образованный...

А!., проклятые мечты! зачем предалась я вам тогда... вы меня погубили! Безумная мысль зажгла мне голову; я думала, что вы любили меня, что вы скрывались нарочно, чтобы только узнать меня... Я ждала вас, я жила вашим ожиданием, слухом об вас... О боже! если бы вы тогда явились передо мной, если бы я увидела вас, как беспрестанно видела в мечте моей, во сне, наяву — с любовью в

глазах, с обручальным кольцом жениха, — я не пережила бы, я умерла бы, но как умерла — духи неба позавидовали бы мне тогда, пожалели, что они бессмертны... Я перестала существовать для всего другого, перешла только в одну мысль, и кто увидел бы меня тогда, тот назвал бы меня не душой, но сумасшедшей...

А люди, которые обрекли меня душой, не дремали — их языки сняли с меня имя дурочки, чтобы назвать меня преступницей; говорили, что вы были... что я была... У меня нет сил выговорить, написать их слова. Только отец мой не поверил ничему. Он долго смотрел на меня, заплакал и сказал: "Ты невинна; не знаю, что значит поступок этого человека, зачем он ходил к нам, а ты невинна... однако ж тебе нельзя более жить с нами..."

Я перешла в большой свет, как в пустыню; я скрылась между детьми, которые еще не светские люди, но дети — все равно и в чертогах вельможи, и в хижине поселянина...

Но и здесь теперь мне нет места. Вы явились — мне уже некуда убежать... Но зачем же вы не скрыли, что знаете меня?.. Ах, Анто-

нин! я верю, что ты не мог скрыть, верю, что ты любил меня, что ты любишь меня, — письмо твое — слова твои — зачем ты старался видеть меня... Не виню, не виню тебя: ты несчастлив; верю, что неизбежная судьба заковала тебя в неразрывные цепи, и если признание мое может тебя хоть на мгновение осчастливить (неужели и тому мне не верить?)... Антонин! я люблю тебя...

Но ты более меня не увидишь. Завтра расстаюсь я с княгиней — мне нельзя здесь более оставаться — любовь твоя будет твоим и моим преступлением, твоею и моею погибелью, а без нее — на что мне жить? И где мне жить? Мне нет места в мире... в Москве, хотела я сказать, здесь — жена твоя, там — мачеха моя... Да, у меня нет уже семейства, нет крова, где отец мог прижать меня к груди своей и, если бы целый свет говорил о моем позоре, сказать мне: "ты невинна!"

Молюсь за тебя, молюсь за всех... И тяжело мне, Антонин, тяжело — только один раз испытала я такое страдание, когда умирал отец мой, всеми оставленный, когда бесчеловечные выгнали его из дома и все, все забыли

его, кроме меня...

Не старайся узнать обо мне. Ты ничего и никогда не узнаешь — есть на земле убежище, куда люди не смеют входить... где не услышим мы речей их...

Антонин! неужели ты не жалеешь обо мне, или любовь твоя опять притворство?.."

* * *

— А где же ваша мамзель Рудольф? — спросила через несколько дней у княгини одна гостя. — Вы, кажется, были довольны ею?

— Очень, но она сама не захотела у меня жить, и не знаю где девалась. Она была такая странная: добрая, тихая, но, право, иногда можно было подумать, что она... как бы вам сказать... дурочка! — отвечала княгиня, улыбаясь и стараясь смягчить выражением название, какого удостоила свою бедную гувернантку.

* * *

Хвалят московские окрестности. Я не согласен, чтобы все они были равно хороши. Ничего не знаю скучнее многих из них — Марьиной рощи, Кускова, Останькова, Преображенского, Перова. Искусство может везде де-

лать чудеса: из миллиона, который посеяли на кирпичных ямах подле Петровского замка, выросли чудесный парк, рощицы, театр, воксал, аллеи, дачи, но там одно искусство! Есть, однако ж, и такие местечки подле самой Москвы, где прихотливая природа не спрашивалась искусства и является красавицей в светлых водах, зеленых рощах, волнистом местоположении. Не говорю о Симонове, о Поклонной Горе — там все внимание увлекает, всю красу составляет Москва, вид на ее золотые головы. Но пойдите в Царицыно, в Коломенское — еще ближе: в Лужники, туда, где с одной стороны луг с Новодевичьим монастырем, с другой Нескучное и Васильевское, с третьей Воробьевы горы, и совершенным полукругом обвилась около них Москва-река; в стороне тихо извивается Сетунь и вливается в Москву-реку, неправильными изломами сдвигаются к ней Воробьевы горы. Мельница, кирпичные заводы, Троицкое с патриаршей церковью, извив Сетуни с бесконечным лугом; вдали селения, домики, поля; кругом все дико, задумчиво. Но то не печаль Сибири, не ужас пустынь Финляндских — то слеза на

глазах милой девушки, задумчивость первой грусти, которая даже нравится своим неожиданным посещением... Там некогда любил я гулять, мечтать, смотреть на заходящее солнце, смотреть, как при закате его отражались в Сетуни колокольни Новодевичьего монастыря, и когда потом вечерние тени налегали на окрестности — ходить там, смотреть, как луна плавала и дробилась в струях Сетуни и в ближней роще свистал и щелкал соловей... О мое милое, грустное — невозвратимое прошедшее...

Там, в один летний вечер, ходил человек, еще не старый, но печальный, как будто утомленный жизнью. Он любопытно глядел кругом. Видно было, что он неожиданно зашел сюда и радовался новому впечатлению. Такой подарок душе казался ему редкостью. Трудно было разгадать, что состарило этого человека: лицо его не было покрыто морщинами труда и думы, не было опустошено и глубокими страстями: какое-то бесчувствие, онемение чувства выражало лицо его. Можно было подумать, что жизнь душила его, как душил кикимора, когда между тем во сне пред-

ставляется спящему, будто он гуляет в роскошных, великолепных чертогах...

Он долго сидел на крутом пригорке к Сетуни, там, где густые ивы склонились на воду и закрыли ее... Вечер наступал; все кругом было тихо и пустынно. Желтые листья падали и хрустели, взвешиваемые легким ветерком. Внимание его обратилось на старушку, которая стояла на коленях у самого берега Сетуни, молилась и плакала. Он подошел к ней.

— Что ты плачешь, милая? Что с тобой случилось?

— Ничего, сударь.

— Но ты плачешь?

— Нельзя не плакать, да не об себе только.

— О ком же? Разве у тебя нет своего горя? — сказал незнакомец, горестно улыбаясь.

— Какое же мое горе? Слава богу! сыта, обу-та, одета — радуюсь на детей. Но здесь видела я горе такое, которое, видно, велико было: не перенесла его, голубушка...

— Кто такая?

— Не знаю, сударь, и никто не знает.

И старуха рассказала, как два года прежде, в этот самый день, пришла к ней молодая де-

вушка, хорошенькая, но бледная как смерть, и попросила позволения отдохнуть в ее хижине; как гостья ласкала ее детей и плакала и потом долго читала какую-то книжку и опять плакала.

— Видно было, что она барышня — она была одета так хорошо и дала мне двадцать пять рублей, когда я рассказала ей про мои недостатки, и потом пошла она гулять и долго сидела там, где вы сидели, сударь, и сошла вот сюда к берегу и долго смотрела на воду — перекрестилась...

Старуха перекрестилась сама, заплакала и сказала:

— Упокой, господи, ее душу! Незнакомец молчал.

— И ты не могла узнать, кто она была? — спросил он мрачно.

— Бог весть — никто не явился к бедняжке — ее зарыли там в лесу, как грешницу, а я уверена, что она была предобрая; видно, злой человек погубил ее. Я отдала на помин души деньги ее и только оставила у себя книжечку, которую она читала, да батистовый платочек, которым утирала она слезы...

— Покажи их мне, — сказал незнакомец.

— Вот они.

Он взял в руки книжечку — то был немецкий молитвенник. На белом листочке у него было написано по-немецки: "Дурочке моей (meinem Narrchen) от любящего ее отца, да молится она, когда господь посетит ее печальми".

— Платок! — вскричал незнакомец. Он схватил его, взглянул на уголок и прочитал на нем буквы: L. R.

Светло отражалась луна в водах зеркальной Сетуни. Незнакомец сидел на берегу и не плакал. Поздно было, когда он побрел через луг к Смоленской заставе. Старушка стояла в стороне и не смела ничего сказать.

— Молись за нее, — сказал незнакомец и положил ей в руку сторублевую ассигнацию. — Книжечку и платок возьму я себе! — Старушка молча поклонилась.

Вероятно, он утешился потом. И как было ему не утешиться? Ведь он был богат, женат на молодой, прекрасной женщине, уважен в свете, и притом, "как нам, добрый читатель, сказать:

К сожаленью иль к счастью,
что наше

Горе земное ненадолго? Здесь
разумею я горе

Сердца глубокое, нашу всю
жизнь губящее горе,

Горе, которое с милым поте-
рянным благом сливает

Нас воедино, которым утра-
та для нас не утрата,

Смерть вдвоем бытие, а
жизнь порыв непрерывный

К той черте, за которую ми-
лое наше из мира

Прежде нас перешло! Есть,
правда, много избранных

Душ на свете, в которых свя-
тая печаль, как свеча пред ико-
ной,

Ярко горит, пока догорит; но
она и для них уж

Все не то под конец, какою бы-
ла при начале,

Полная, чистая... Много, мно-
го иного, чужого

Между утратой нашей и на-
ми уже протеснилось...

Вот наконец и всю изменяе-

*мость здешнего в самой
Нашей печали мы видим...
Итак, скажу, к сожаленью, —
Наше горе земное ненадолго..."*

1839

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание сочинений Н. А. Полевого вошли наиболее характерные и известные повести писателя, а также его письма. Некоторые из ныне публикуемых художественных произведений Полевого уже знакомы современному читателю (см.: Рассказы русского солдата. — В сб.: Русские повести XIX века 20-30-х годов. — М.; Л., 1950. — Т. 2. — С. 3–58; Блаженство безумия. — В сб.: Русская романтическая повесть: Первая треть XIX века. — М, 1983. — С. 301–336), другие впервые перепечатываются после долгого перерыва. Тексты повестей и писем расположены в хронологическом порядке. Сборник "Мечты и жизнь" включается полностью с сохранением авторской композиции.

Для настоящего издания тексты проверены по всем имеющимся рукописным (письма) или печатным источникам. Повести печатаются в последних редакциях. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессив-

но-смысловой характер либо передают колорит эпохи, особенности произношения самого Полевого (например, "азиятское", "воксал", "вороты", "вынял", "скрыпка", "тма"). Сохранены также особенности пунктуации, имеющие интонационное значение.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ СОКРАЩЕНИЙ

БдЧ — "Библиотека для чтения"

ВЕ — "Вестник Европы"

Записки — Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. — СПб., 1888.

Известия — Известия по русскому языку и словесности. 1929. — Т. 2, кн. I. — Л., 1929.

МТ — "Московский телеграф"

ОЗ — "Отечественные записки"

РА — "Русский архив"

РВ — "Русский вестник"

РС — "Русская старина"

СО — "Сын отечества"

СПч — "Северная пчела"

Дурочка. Впервые в сб.: Сто русских литераторов. — СПб., 1839. — Т. 1. — С. 451–526. Печатается по этому изданию.

С. 443. Кола — городок на Кольском полуострове.

Нерчинск — город в Забайкалье.

Олонец — город в Карелии.

Черная Грязь — последняя станция перед Москвой.

С. 445. Лапландия — природная область на севере Скандинавии и Кольского полуострова.

С. 456. Лафонтён Август — см. примеч. к с. 144.

С. 457. Гроденапль — род шелковой ткани.

С. 458...Стернова бедная Мария... — персонаж произведений английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768) "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" (1760–1767) и "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии" (1768); облик героини Полевого напоминает описания Марии Стерном.

С. 461. Зарядье — исторический район в центре Москвы; в XIX веке был заселен ремесленниками и торговцами.

Калибер — см. примеч. к с. 392.

С. 462. Семирамида — царица Ассирии (870–772 до н. э.).

С. 463...изженут — изгонят.

С. 470. "Робинсон". — Речь идет о русском переводе наиболее известного сочинения немецкого педагога и писателя Иоахима Генриха Кампе (1746–1818) — "Новый Робинзон, служащий к увеселению и наставлению детей, сочиненный г. Кампе / Переведен с немецкого на российский Ф. Печериным" (ч. 1–2. — М., 1792).

С. 479. Красное Село — пригород Петербурга, место летнего расположения войск гвардейского корпуса.

С. 485...знамение Каинова проклятия... — Согласно библейской легенде, сын Адама и Евы Каин убил своего брата Авеля, за что был проклят богом и отмечен особым знаком — "Каиновой печатью".

С. 486...я думала быть Пигмалионом для статуи... — Имеется в виду греческий миф о Пигмалионе, полюбившем изваянную им статую; по просьбе Пигмалиона богиня Афродита оживила ее.

С. 490...как нам, добрый читатель, сказать... — Далее цитируется XVI глава "старинной повести" В. А. Жуковского "Ундина". Вы-

шедшая отдельной книгой в 1837 г. "Ундина" пользовалась большим успехом. Первая строка цитаты слегка изменена Полевым.

Примечания

1

О, да! (нем.).

[^^^]

мой милый (фр.).

[^^^]

моя душа (фр.).

[^^^]

4

- Мадемуазель Рудольф... я очень рад... что вас встретил... (фр.).

[^^^]